

Jane Fonda

ДЖЕЙН
ФОНДА

Вся моя жизнь

ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

На последнем дыхании

Джейн Фонда
Вся моя жизнь

«АСТ»

2005

УДК 821.111-94
ББК 84(7Coe)-44

Фонда Д.

Вся моя жизнь / Д. Фонда — «АСТ», 2005 — (На последнем дыхании)

ISBN 978-5-17-102999-9

Джейн Фонда (р. 1937) – американская актриса, дважды лауреат премии “Оскар”, продюсер, общественная активистка и филантроп – в роли автора мемуаров не менее убедительна, чем в своих звездных ролях. Она пишет о себе так, как играет, – правдиво, бесстрашно, достигая невиданных психологических глубин и эмоционального накала. Она возвращает нас в эру великого голливудского кино 60–70-х годов. Для нескольких поколений ее имя стало символом свободной, думающей, ищущей Америки, стремящейся к более справедливому, разумному и счастливому миру. И еще она из тех женщин, которые не боятся жить. Вся жизнь Джейн Фонды – это захватывающий роман, от которого невозможно оторваться. Сергей Николаевич, главный редактор журнала “СНОБ”

УДК 821.111-94
ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-102999-9

© Фонда Д., 2005
© АСТ, 2005

Содержание

Предисловие	6
Акт первый	10
Глава 1	11
Глава 2	20
Мать	20
Отец	25
Глава 3	30
Глава 4	34
Глава 5	40
Глава 6	48
Глава 7	53
Глава 8	61
Глава 9	70
Глава 10	78
Глава 11	83
Конец ознакомительного фрагмента.	87

Джейн Фонда Вся моя жизнь

Jane Fonda
My Life So Far

Печатается с разрешения компании Fonda, Inc. и литературных агентств Janklow & Nesbit Associates и Prava I Prevodi International Literary Agency

© Jane Fonda, 2005
© Ю. Плискина, перевод на русский язык, 2016
© С. Николаевич, послесловие, 2017
© А. Бондаренко, художественное оформление, 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2017

Предисловие

Не зная собственной истории, мы обречены жить так, словно это наш жребий.

Ханна Арендт

Прошлое дает полномочия настоящему, и шаг за шагом, ощупью пробираясь к настоящему, мы намечаем дорожки в будущее.

Мэри Кэтрин Бейтсон

Я родилась 21 декабря, в самый короткий день. Я представляю себе год в виде круга, в самом низу которого, в позиции 6 на циферблате часов, расположен декабрь. Когда же стрелки нового года начинают двигаться вверх, мне кажется, что я тоже поднимаюсь и иду против хода часов, чтобы через двенадцать месяцев завершить круг и спуститься обратно к самым коротким дням. Вот в такой день 1996 года, когда мне стукнуло пятьдесят девять, я поняла, что если я намерена прожить лет девяносто, то следующий цикл откроет занавес перед третьим актом моей жизни.

Я работаю в кино и в театре больше сорока лет, поэтому кое-что знаю о третьих актах. Вам доводилось смотреть пьесу, первые два действия которой были не вполне понятны, а в начале третьего всё встало на свои места? Ага, сказали вы себе. Так вот зачем понадобилась та сцена в первом действии! Или наоборот, третье действие разрушало стройную картину, созданную в двух первых. Однако третий акт определенно играет ключевую роль, подытоживает и сводит воедино, казалось бы, разрозненные эпизоды первого и второго актов.

Но в жизни не бывает репетиций и вторых дублей – этим-то она и отличается от театра. Что есть, то есть, и лучше разобраться в своей жизни раньше, чем она подойдет к концу.

Для того чтобы третье действие прошло на ура, надо понимать, о чем шла речь в двух предыдущих. Чтобы понять, куда вы идете, надо знать, где вы находились. Пусть меня сочтут занудой, но я не хочу уподобиться Христофору Колумбу, который, отправляясь в путь, не понимал, куда плывет, добравшись до места, не понял, где очутился, а вернувшись домой, не осознал, где был. Поэтому мне в мой пятьдесят девятый день рождения было о чем поразмыслить.

Энн Ламотт в книге “Птица за птицей” пишет: “Хотите насмешить Бога – поделитесь с ним своими планами”. Верно подмечено. Но я не строю планов, когда думаю о своем третьем акте. Я просто хочу сказать, что для понимания прошлого мне потребовалось стать более дисциплинированной; чтобы воспринять уроки прошлого душой – то есть усвоить пройденное, – нужно было мужество, а чтобы я смогла использовать их в будущем, мне пришлось взять на себя обязательство проделать всё необходимое для этого. Это нелегко.

Однажды на стене балетной студии я увидела постер в рамке с изречением танцовщицы и хореографа Марты Грэм. Оно гласило: ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ – ЭТО И ЕСТЬ СВОБОДА. Оксюморон, на первый взгляд, ведь жесткая дисциплина и свобода – понятия противоположные, не так ли? Но в данном случае под дисциплинированностью подразумевается не соблюдение строгих правил с неотвратимым наказанием за их нарушение. Имеется в виду, что вас необязательно держать на коротком поводке – вы и так достаточно преданны своему делу и хорошо контролируете себя, прочные связи позволяют вам порвать цепи, а сила характера – быть мягким. Свобода требует целеустремленности, взвешенности решений, смелости и – да, да – дисциплинированности.

Я думаю о невероятной дисциплинированности, которая требовалась великому танцовщику Рудольфу Нуриеву, чтобы на какой-то миг освободиться от земного притяжения и

взлететь. Думаю о выдающемся питчере Грегге Мэддаксе, много лет игравшем за “Атланта Брейвз”, и о его способности к самоконтролю, благодаря которой он мог расслабиться душой и телом, стоя на питчерской горке в самом начале девятого иннинга матча Мировой серии.

В моем случае дисциплинированность и обретение свободы предполагают признание и изгнание моих демонов, анализ прошлого и избавление от старых схем и убеждений, дабы высвободить пространство для спокойствия. Только при полном спокойствии я услышу слабый голос и пойму, куда он меня зовет. Назовите этот голос как угодно, но он звучал всегда, хотя во время моего второго акта – и коли уж на то пошло, на протяжении большей части первого – я сильно рисковала, прислушиваясь к нему.

Без дисциплинированности я не смогу стать свободной перед третьим актом и жить, понимая, что значит смерть.

Не хочу умереть, не выяснив, кто я есть.

Помните такие игрушки – надо было бросить в стакан с водой горстку твердых, сухих зерен, и они набухали там, образуя фантастические цветные подводные пейзажи? Вот и я бросаю в воду каждую отдельную минутку, чтобы она разбухла в нечто более объемное и полновесное, – так я понимаю дисциплинированность и жизнь с осознанием конца.

Чтобы вы поняли, почему я решила именно так подготовиться к третьему действию, вернемся на несколько лет назад, в те годы, когда мне еще не было пятидесяти. Мой отец умирал. Я подолгу молча сидела у его кровати, надеясь, что он заговорит со мной, скажет, о чем он думает и что чувствует, в то время как его уносит от нас в вечность. Он ничего не сказал.

Раз он не мог прийти ко мне, я шла к нему. Я сосредотачивалась на его лице и старалась влезть в его тело, стать им. Помню, мне было очень грустно рядом с ним – и не потому, что он умирал, а потому, что он так и не сблизился ни со мной, ни с моим братом Питером. Он наверняка жалел об этом. Я на его месте жалела бы.

Этот опыт научил меня не бояться смерти. Но всё же я не хотела бы оказаться со всеми своими чувствами там, на краю жизни, когда не останется времени на то, чтобы расставить всё по местам.

Конечно, каждому из нас есть о чем пожалеть, результаты некоторых наших деяний мы хотели бы изменить или стереть. Отдельные эпизоды моей жизни преследуют меня неотступно – надеюсь, мне достанет мужества выстоять против них в этой книге. Но нет ничего хуже всяких “если только” и “что, если” – куда страшнее *не* сделать того, что вы должны были сделать, чем *сделать* то, чего не следовало. “Почему я не сказал ей, как сильно я ее люблю?” “Если бы мне хватило смелости проанализировать свои застарелые страхи!”

Ближе к шестидесяти я стала всерьез задумываться о таких вещах. Что-то начало меняться в моей душе – что, я не могла разобрать, пока не села за эту книгу. Тогда я поняла, что, если впоследствии не хочу ни о чем жалеть, надо назвать вещи своими именами и что-то с этим сделать уже сейчас, пока еще есть силы и здоровье. Надо было жить осознанно, и я понимала, что должна смело взглянуть на свои фобии – например, на страх близости.

Всё это обрушилось на меня в 1996 году, в день, когда мне исполнилось пятьдесят девять лет. Медлить больше нельзя. Через год мне будет шестьдесят. Одна моя подруга призналась, что прозевала свое шестидесятилетие, другой мой знакомый “ушел в подполье”, как он сам выразился. Поймите меня правильно. Не желаю стариться и думать только о косметике и суставах. Но я непременно должна сделать то, что всегда делаю, если чего-то боюсь, – осторожно подобраться поближе к своему страху, детально изучить его и превратить в союзника. Врага надо знать в лицо – за много лет я неоднократно применяла это старое правило с пользой для себя. Так, после сорока, когда мне уже грозила скорая менопауза с неизбежными переменами, мы с моей подругой Миньон Маккарти потратили два года на исследование этой проблемы, работая над книгой под названием “Женщины вступают в возраст зрелости”

о том, как подготовиться к менопаузе и старению. И когда пришло время перемен – гораздо позже, чем я предполагала, – я была к ним готова. Я знала, что можно выторговать у жизни, а что нельзя.

С такими мыслями я решила изучить свою жизнь до грядущего шестидесятилетия, чтобы принять его полностью и безоговорочно. Выводы, которые я сделала, оказались совершенно неожиданными. Рассматривая свои личные проблемы в более широком социальном контексте, я поняла, что все женщины проходят большей частью тот же путь – возможно, с некоторыми отклонениями и иными результатами, но по сути с теми же переживаниями. Это и подстегнуло меня к созданию моей книги.

К тому же я решила, что пора поделиться с читателями моими впечатлениями о пяти годах войны во Вьетнаме. Отчасти я хочу дать честный документальный отчет, но главным образом рассказать о том, что я вынесла из своего опыта – что я узнала о себе самой, о мужестве и покаянии. Самые важные уроки мне преподали американские военнослужащие, от которых я узнала, что, даже оказавшись в “сердце тьмы”, можно измениться и стать свободным, если сумеешь смело взглянуть правде в глаза и поведать о ней людям.

Чего только не говорили – и далеко не всегда благожелательно – о различных переменных в моей жизни и об их публичных проявлениях, о разных моих имиджах и о том, как мои мужчины влияли на мой имидж. Сейчас я уже понимаю, что тогда происходило, и анализирую это в книге. Надеюсь, когда я говорю о девочке, которая теряет контакт с самой собой, со своим телом и вынуждена с огромным трудом, в борьбе, вновь обретать себя и свой голос, другие женщины увидят в этом сходство с собственными переживаниями. Кроме того, я считаю, что, *если* вы погружаетесь в *каждую фазу* полностью и *если* перемены ведут к развитию, меняться полезно. К добру или к худу, я отдавалась каждому жизненному этапу целиком, о чем не жалею, так как это позволяло мне учиться и развиваться. Надеюсь, моя книга наполнит фразу “жизнь – это путешествие, а не конечный пункт назначения”¹ плотью и кровью, ибо, по-моему, куда приятнее отправиться в путь и двигаться, нежели жить в предвкушении “прибытия”.

Моя жизнь менялась не всегда плавно – иногда скачками. Противясь ожиданиям общества, родных и коллег, я никогда не задумывалась о награде, которая ждет меня в конце моего блестящего пути, и теперь считаю, что меня спасло как раз отсутствие четкой цели в молодости. Если бы я от осторожности, лени или из соображений “нормальности” застыла бы на стоп-кадре в самом начале моей карьеры, я точно проспала бы свой третий акт... не исключено, что под действием снотворного.

Мне кажется, что мою жизнь можно рассматривать в связи с историями других людей и нашей нынешней эпохой именно благодаря ее переменчивому течению. Сегодня без гибкости и импровизации нельзя, однако родители по-прежнему давят на детей и хотят, чтобы те строили свою жизнь по их схеме – с младых ногтей принимали решение, кем стать, и всецело отдавались этой идее. А когда происходит какой-то сбой, дети думают, что они хуже других. Мы росли в ожидании очередного достижения – закончить университет, выйти замуж, когда выбрать профессию и стать взрослой, – и преодоление этих рубежей должно было принести удовлетворение. Юношеские мечты отступают перед “реальностью”, и вместо того, чтобы отстаивать свое право на *а что, если*, мы превращаемся в жертв того, что *есть*. Стабильность может обернуться ловушкой, особенно если вы стабильно совершаете ошибки, когда надо бы остановиться, признать свою ошибку и поменять курс.

Одно не вызывает сомнений – джинн “непрерывных перемен” выпущен из бутылки. Тектонические сдвиги в нашей глобальной социопсихоэкономической реальности превра-

¹ Ральф Уолдо Эмерсон (1803–1882) – американский эссеист, поэт и философ. – *Здесь и далее не оговоренные специально примечания принадлежат переводчику*

тили перемены в постоянно действующую норму! Я полностью согласна с суфийским поэтом Руми, который сказал: “Истинна лишь алхимия меняющейся жизни”. Моя собственная жизнь – безусловно, пример того, что зачастую перемены воодушевляют и помогают творить.

Я разделила свою книгу на три действия, или акта. Первое действие называется “Накопление”, потому что всё, что сделало меня *мною*, – принципы, переживания и шрамы, которые я залечивала в течение двух следующих актов и которые легли в их основу, – я накопила за первые тридцать лет.

Второе действие – “Искания”, так как именно тогда мои глаза открылись, и я принялась изучать мир, старалась понять то, что не укладывалось в узкие рамки меня самой и моей тогдашней жизни, спрашивала себя: зачем я здесь, как живут другие люди, могу ли я сделать жизнь лучше?

Последнее действие я назвала “Начало”, потому что... ну, таковы мои ощущения.

Жизнь на виду у всех не гарантирует личного покоя и счастья, но благодаря ее публичности мои разнообразные метаморфозы обретают общий смысл. Пока я писала книгу, обнаружилось еще одно преимущество: я могу приподнять верхний слой историй, к которым у вас, читателей, выработалось определенное отношение, и предложить вам взглянуть на события иначе, в новом свете.

На раннем этапе я “отрешилась от себя” – от своего тела – и большую часть жизни искала путь домой... к обретению себя. Мне стало это ясно лишь на седьмом десятке, когда я засела за свой труд. Я подумала, может, мое предназначение – в том, чтобы на примере собственного жизненного пути показать, как и почему люди иногда “абстрагируются” от себя (женщинам это особенно свойственно) и как, вновь возвращаясь к себе, добиться гармонии не только в себе, но и на всей планете. Я обнаружила, что потеря контакта со своим телом обернулась для меня невозможностью близости, и в середине моего второго действия я начала ее искать.

Я посвятила свою книгу маме. Мне было чрезвычайно важно найти путь к себе, чтобы восстановить гармонию. Понимаете, на протяжении чуть ли не всей моей жизни я чувствовала себя так, словно произошло непорочное зачатие наоборот – будто я рождена мужчиной без вмешательства женщины. По ряду причин – вскоре они станут вам ясны – я потратила слишком много энергии на избавление от всего, что связывало меня с матерью. И заплатила за это колоссальную цену. Посвятив эту книгу маме, тем самым я отмечаю новый поворот в своих попытках жить полноценно и осознанно.

Итак, это тебе, дорогая читательница. И тебе, мама, Френсис Форд Сеймур, – ты сделала всё, что могла. Ты подарила мне жизнь, боль и часть того, в чем я нуждалась, чтобы стать крепче там, где рвалось.

Акт первый Накопление

*По сути, всё сводится к созреванию и рождению.
Райнер Мария Рильке. “Письма к молодому поэту”*

Глава 1 Бабочка

*Побудь вблизи, прерви полет!
Пусть взор мой на тебе замрет!
Тобой воссоздан каждый миг
Первоначальных дней моих!*
Уильям Вордсворт. “Мотыльку”²

Я сидела по-турецки на полу крошечного домика, который соорудила себе из картонных коробок. Его стенки довольно высокие, мне виден лишь белый крашеный дощатый потолок застекленной веранды, типичной для коннектикутских домов 1940-х годов. На огибавшей дом веранде пахло плесенью. Свет из окон отражался от потолка и попадал туда, где я сидела, поэтому я могла возиться с седлом без лампы. Мне было одиннадцать лет.

Это английское седло принадлежало Пан, моей сестре по матери, еще до того, как она продала свою лошадь, вышла замуж и уехала в Нью-Йорк, – в те времена, когда мы еще думали, что всё у нас хорошо.

Я держала седло на колене и старательно втирала в красивую, роскошную кожу седельное мыло... *Чтобы стало лучше. Я знаю – в моих силах сделать так, чтобы стало лучше*³. Запах седельного мыла успокаивал. Здесь я чувствовала себя уверенно. Никому, кроме меня, не разрешалось сюда заходить – ни моему брату Питеру и никому другому. Здесь всегда всё было одинаково – седло, мыло, аккуратно сложенные мягкие тряпочки и моя книжка стихов Джона Мейсфилда. Порядок превыше всего... на этом всё держалось.

Мама уже была дома, и, слегка наклонившись вперед, я могла увидеть через “дверь” длинную веранду, где она сидела за покрытым клеенкой столом, на котором стояла стеклянная банка с завинчивающейся крышкой. О стеклянные стенки отчаянно билась крылышками бабочка, и мне было видно, как мама берет пинцетом ватный шарик, окунает его в бутылочку с эфиром, отвинчивает крышку банки и аккуратно опускает туда пропитанную эфиром ватку. Через минуту я видела, что крылышки бабочки трепыхались всё медленнее, пока не замирали совсем. Покой. До меня доносился слабый аромат эфира, как в кабинете зубного врача. Я отлично понимала, что происходило с бабочкой, потому что, когда я ходила к стоматологу подтягивать брекеты, медсестра прикладывала к моему носу маску и велела мне глубоко вдохнуть. Я мгновенно переставала ощущать границы своего тела. Звуки доносились откуда-то издалека, и я, как Алиса в Стране чудес, чувствуя чудесную, космическую невесомость, словно летела в темную дыру. Вот бы это длилось вечно! Мне ни капельки не было жалко бабочку.

Спустя какое-то время мама отвинчивала крышку, осторожно вытаскивала бабочку длинным пинцетом, бережно, любовно насаживала ее тельце на булавку и прикалывала ее к белой доске, которая висела на стене над столом. Там уже было не меньше дюжины бабочек – разные виды парусников, желтушка, адмирал, белянка, монарх. Не знаю, какая из них нравилась мне больше всех.

Однажды мама взяла меня с собой на луг, заросший высокой травой и полевыми цветами, где она обычно ловила своих бабочек. В сороковых годах в Гринвиче, в штате Коннектикут, еще оставалось много таких диких мест – заболоченных полей, дремучих лесов,

² Перевод И. Меламеда.

³ ...*make it better... you can start to make it better* (“...чтоб стало лучше... ты можешь начать и сделать лучше”) – слова из песни *Hey Jude* (“Эй, Джуд”) группы “Битлз”.

лугов. Я смотрела, как она пробирается в траве, резко замахивается зеленым сачком и быстро зажимает сетку, чтобы отрезать бабочке путь к свободе; мамины светлые, выгоревшие на солнце волосы развевались на ветру. Я помогала ей опустить бабочку в банку, так чтобы не повредить ее, и быстро завинтить крышку.

Для меня было загадкой, почему моя мать решила заняться коллекционированием бабочек. Не помню, чтобы ее это интересовало, когда мы жили в Калифорнии. Это я восхищалась бабочками. Я часто рисовала их. Когда мне было десять лет, перед нашим отъездом из Калифорнии я подарила папе на день рождения рисунок. В правом углу я подписалась: “Бабочки. Джейн Фонда”. Затем шли две строки названий, написанных моим четким, безупречно прямым-лишь-бы-не-разоблачить-себя почерком. Далее следовал текст:

19 мая 1948 г.

Дорогой папа!

Этих бабочек я рисовала не под копирку. Надеюсь, ты хорошо отметил свой день рождения. Я слышала тебя в программе Бинга Кросби. Я буду посылать тебе новые рисунки с бабочками через день.

Люблю тебя, Джейн.

К тому времени, когда моя мать увлеклась своим хобби, мне исполнилось одиннадцать. Питеру было девять, и мы снимали уже второй дом в Коннектикуте. Наш двухэтажный деревянный, хаотично спланированный дом стоял на самом верху крутого склона, откуда была видна застава на Мерритт-Паркуэй. Глядя на нее из окна моей комнаты, я могла подсчитывать машины. Прежде чем переехать на Восток, мы жили в калифорнийских горах Санта-Моники и любовались не дорожным шлагбаумом, а сверкающими просторами Тихого океана. Если бы меня воспитывали с видом на заставу, возможно, я захотела бы стать контролером.

Наш новый дом располагался на обширной территории частных владений, ограниченной с запада бескрайним лиственным лесом, который зимой превращался в серую крепость из голых деревьев. Весной же зацветал кизил, и в сером, мрачном лесу появлялся белый цвет надежды, пурпурными всполохами загорался церцис. В мае зеленая гамма вновь преображала лес. Девочке, которая первые десять лет жизни провела в Калифорнии, где зимой и летом всё одним цветом, такая постоянно меняющаяся палитра казалась чудом.

В вечно темном и холодном доме, будто придуманном Чарльзом Аддамсом⁴, чувствовался какой-то дискомфорт, к тому же комнат в нем было гораздо больше, чем жильцов, что в сочетании с его расположением на верхушке горы вызывало ощущение непостоянства и хаотичности. Там жили бабушка Сеймур (мамина мама), Питер, я и горничная Кэти, американка японского происхождения. Питер говорит, что за три года привык к Кэти, и ему было спокойнее рядом с ней. Я, напротив, едва помню ее. Но в те годы Питер гораздо лучше меня сходил с людьми. Я была Одиноким рейнджером.

Мама уже проводила с нами мало времени, но я не знала почему. Как раз вернувшись в очередной раз откуда-то, куда она уезжала, мама и начала коллекционировать бабочек. Может быть, кто-то посоветовал ей обзавестись хобби. Мы с Питером перестали замечать ее отсутствие – по крайней мере, я его почти не замечала. Мы просто привыкли к тому, что мама то есть, то ее нет. Когда ее не было – и даже при ней, – о нас заботилась бабушка Сеймур. Бабушка была женщиной энергичной и участвовала в нашей жизни постоянно. Но хотя я ее и любила, не помню, чтобы я когда-нибудь бежала радостно к ней в объятия, как бегут ко мне мои внуки. Не помню, чтобы она как-то учила меня премудростям жизни и даже просто

⁴ Американский художник-карикатурист, создатель персонажей “Семейки Аддамс”.

веселилась со мной. Она вела себя строго и решительно. Но если мы в чем-то нуждались, всегда оказывалась рядом.

Иногда в доме проскальзывали негромкие фразы о больнице и о болезни, а как только мы переехали в Гринвич, мама надолго легла в клинику Джонса Хопкинса на операцию по поводу опущения почки. Бабушка один раз сводила нас с Питером навестить ее там, и я помню, как мама говорила мне, что ее разрезали чуть ли не пополам. Однако она так много “болела” и лечилась, что относиться к этому с должным вниманием было невозможно. Больницы существуют для того, чтобы люди поправлялись, уходили домой и *оставались дома*.

С тех пор как мы переехали в Гринвич, я – вполне здоровый человек – и сама немало времени провела в больницах. У меня случился сепсис, затем хронический отит; потом пошли переломы. Впервые я сломала руку, когда боролась с мальчиком, которого звали Тедди Уол, сыном управляющего конноспортивным клубом “Раунд Хилл Стейблз”. Тедди шарахнул меня о дверь конюшни. Было больно, но я пришла домой и никому ничего не сказала: хватит нам ипохондриков – Питера и мамы. Я жаловаться не собиралась. Вместо этого я уселась перед черно-белым телевизором и стала смотреть детскую передачу “Хауди Дуди”, которую любила за то, что там регулярно показывали короткие серии из “Одинокого рейнджера”.

Я сидела, стараясь не шевелиться и, как обычно, подсунув руки под себя, – боялась, что папа увидит мои обгрызенные ногти. Когда мы сели есть, папа спросил, мыла ли я руки; я призналась, что не мыла: он страшно рассердился, вытащил меня из-за стола, поволок в ванную, отвернул кран, схватил мою сломанную руку, которая безвольно висела вдоль моего тела, и сунул ее под воду. Я потеряла сознание. Не подозревая о моей травме, он немедленно повез меня в больницу и всю дорогу просил прощения; в больнице мне сделали рентген и наложили гипс. Как назло, всё это произошло прямо перед началом занятий в школе, моего первого года в школе для девочек “Академия Гринвич”, и я должна была предстать перед всеми с загипсованной рукой именно тогда, когда все присматривались друг к другу – кто модно одет (в те времена мы говорили “изящно”), кто хорошо играет в хоккей на траве, с кем хочется дружить.

Папа тогда играл в имевшем колоссальный успех бродвейском спектакле “Мистер Робертс”. Теперь я понимаю, что должна была заметить какой-то разлад между родителями. Атмосфера была напряженной – отец сердился и ходил мрачный, мамини отлучки становились чаще и продолжительнее. Даже если бы мне удалось выразить словами свои “догадки”, я уже усвоила, что к словам о чувствах никто никогда не прислушивается. Вместо этого о бедственном положении сигнализировал мой организм.

С того времени сохранились фотографии. Сразу после нашего отъезда из Калифорнии журнал *Harper's Bazaar* взял у отца интервью и поместил фото нашей семьи “на пикнике” – в таких постановочных съемках дети кинозвезд обычно служат реквизитом. Фото запечатлели нас на лужайке – папа, мама, Питер, я и Пан (та, что с седлом), в свои шестнадцать уже красавица с роскошными формами.

Это одна из весьма красноречивых фотографий. Я обнаружила ее в альбоме после многолетней психотерапии, когда уже могла взглянуть на нее более сознательно, с пониманием. На переднем плане, опираясь на локти, лежит отец; кажется, что он глубоко и серьезно задумался о чем-то, никак не связанном с нами. Рядом с ним, как и на многих наших семейных фотографиях, сижу я на коленках и внимательно смотрю на него, словно хочу показать, на чьей я стороне. Позади меня – Питер играет с кошкой и Пан в гламурной позе. А дальше, на заднем плане, наклонившись к нам с выражением боли и тревоги на лице, сидит мама – будто посторонний человек. Когда я разглядываю ее лицо, нередко через лупу, мне становится очень грустно.

Почему я ничего не поняла тогда? Почему не была добрее? Мне было десять лет.

В конце Второй мировой войны папа вернулся со службы на флоте и чуть ли не в тот же день уехал в Нью-Йорк, чтобы возобновить репетиции “Мистера Робертса”, а мы еще оставались в Калифорнии. Когда стало ясно, что пьеса выйдет нескоро, мама решила выставить наш дом на продажу и перебраться на Восток. Она выбрала Гринвич в надежде, что тридцать пять минут на поезде или на машине до Нью-Йорка позволят отцу приезжать домой на выходные. Кроме того, в этом гористом коннектикутском районе сдавались дома с достаточно большими участками, так что мы с Питером по-прежнему могли гулять вволю. По крайней мере, тут мои родители поступили правильно.

Не помню, чтобы папа много бывал с нами в Гринвиче. Когда он приезжал, я почти физически ощущала, как сильно его тянет обратно в Нью-Йорк, хотя и не понимала почему. Мне казалось, что ему просто неинтересно с нами – с мамой, Питером и мной. Я чувствовала, что на самом деле он не хочет здесь оставаться. Однако он был образцовым бойскаутом высшей касты и чувство долга было у него в крови. Хотела бы я, чтобы скауты научили его выполнять свой долг не только формально.

Иногда по воскресеньям папа брал нас с Питером ловить камбалу в проливе Лонг-Айленд. Как правило, он пребывал в дурном настроении, и настоящей “увеселительной прогулки” от подобных мероприятий ожидать не следовало, но мне нравилось всё – нравилось плыть всем вместе на маленькой моторной лодке, взятой напрокат, нравился запах соленых брызг в смеси с выхлопными газами, предвкушение того, как мы покинем бухту, обогнем бакен и выйдем в море. Поскольку камбала – рыба придонная, далеко мы не уходили, папа глушил двигатель и давал команду насаживать на крючки наживку. Наступало время платить по счетам.

Когда ловишь рыбу на удочку, приходится лезть рукой в ведро с красно-бурыми водорослями, в которых копошатся красновато-коричневые дождевые черви, и кажется, будто у них на головах клешни. Питер этого терпеть не мог. Он не желал даже прикасаться к червякам, что уже само по себе требовало решимости. Папа не пытался скрыть, насколько ему отвратительна брезгливость Питера, и мрачнел всё сильнее. Зато я, Одинокый рейнджер, бесстрашно шла навстречу опасности, мне хватало мужества на нас обоих. Я брала червя и, не дрогнув, вонзала крючок прямо в его извивающуюся головку. Я делала это не для того, чтобы выставить Питера в невыгодном свете. Я любила брата. Просто мне хотелось продемонстрировать папе свой крепкий характер и снять напряжение.

Питер был такой, какой был. Если ему было страшно, он этого не скрывал; если у него что-то болело, он жаловался – и плевать, кто что скажет. Мне часто хотелось, чтобы он притворился, как я это делала, просто чтобы было проще. Но Питер оставался самим собой. А я – ну что ж, я выработала привычку преодолевать сама себя, лишь бы снискать одобрение отца. *Чтобы стало лучше. Я знаю – в моих силах сделать так, чтобы стало лучше.*

Однажды папа взял нас с собой в город и повел в цирк. Там оказался и наш знакомый, нью-йоркский журналист Рэди Харрис, которому приписывают следующий текст:

Помню, я сидел в ложе цирка спустя несколько месяцев после премьеры “Мистера Робертса”. Справа от меня сидел Хэнк. С ним были Джейн и Питер, и, пока шло представление, он не сказал детям ни слова. И дети либо достаточно хорошо всё понимали, чтобы молчать, либо были слишком запуганы, чтобы говорить. Он не купил им ни хот-догов, ни сахарной ваты, не побаловал сувенирами. Когда представление закончилось, они просто встали и ушли. Мне было ужасно жалко всех троих.

Потом в один прекрасный день я направилась к двери после завтрака, собираясь пойти в школу, и увидела, что у входа в гостиную стоит мама. Она жестом подозвала меня к себе.

“Джейн, – сказала она, – если кто-нибудь скажет тебе, что мы с папой разводимся, отвечай, что ты знаешь”.

Вот так. И я ушла в школу.

Еще годом раньше я поняла, что родители вовсе не предполагают, что ты, их дитя, после их развода провалишься сквозь щелку в полу, так что тебя никто никогда не хватится. У некоторых моих друзей родители развелись, и они легко это пережили. В тот день мне действительно было немного не по себе в школе, как будто я надышалась эфира у зубного врача, но я чувствовала также, что происходит нечто важное, заслуживающее особого внимания. В те времена развод был делом довольно необычным.

Через несколько дней после того, как мне сообщили о разводе (мне одной, Питеру ничего не говорили), я лежала с мамой на кровати, и она спросила, не хочу ли я посмотреть на ее шрам, оставшийся после недавней операции на почке. Я вовсе не хотела. Но мне показалось, что, раз она спросила, значит, ей надо показать мне шрам, и возражать не стоит. Она задрала пижаму, приспустила штаны, а там... жуть! Так вот почему они разводятся! Кто же захочет жить с человеком, которого разрезали надвое и талию которого опоясывал толстый, широкий розовый рубец? Страшно было смотреть.

– Я лишилась всех мышц на животе, – печально сказала она. – Ужасно, правда?

Что она хотела услышать от меня – что всё не так уж плохо? Или хотела, чтобы я с ней согласилась?

– И сюда посмотри, – сказала она и показала мне одну свою грудь.

Сосок был сильно поврежден. Мне было очень неловко за нее – должно быть, это сильно травмировало ее, – но вместе с тем я не желала быть ее дочерью. Я хотела проснуться и узнать, что меня усыновили. Хотела здоровую, красивую маму, на которую папе приятно было бы смотреть без одежды. Может, из-за этого он и не любил бывать дома. Это она во всем виновата.

Думаю, именно тогда, на той самой кровати, я поклялась всегда делать всё, что только потребуется, лишь бы выглядеть безупречно, так, чтобы меня смог полюбить мужчина. Спустя пятьдесят три года Пан рассказала мне, что маме неудачно поставили грудной имплантат. Видимо, моя мать тоже хотела выглядеть безупречно. Во втором действии я еще вернусь к грустной теме грудных имплантатов.

Говард Тейхманн в авторизованной биографии моего отца под названием “Моя жизнь” писал, что, когда папа предложил маме развестись, она ответила: “Ну что ж, Хэнк, ладно. Удачи тебе”.

Оглядываясь назад, Фонда говорит: “Должен признаться, она была прекрасна... Она приняла это. Отнеслась с сочувствием. Проявить больше понимания было просто невозможно”.

Да, конечно. Мама играла по правилам. Если она сможет любить *правильно* – самоотверженно, с пониманием и без злости, – возможно, папа вернется к ней. Хотя в душе у нее всё рушилось. Она обкорнала волосы маникюрными ножницами, а когда гостила у подруги в Нью-Йорке, разгуливала по улице в ночной рубашке.

В то время я тоже разгуливала в ночной рубашке, но только в спящем состоянии, под влиянием одного и того же кошмарного сна: я оказалась в чужой комнате и отчаянно пытаюсь выбраться, вернуться туда, где мне полагалось находиться. Там темно и холодно, я никак не могу отыскать дверь. Во сне мне удавалось сдвинуть крупную мебель, чтобы найти выход, но всё было тщетно, и я бросала эту затею и снова ложилась в постель. Утром приходилось наводить порядок в комнате. Этот кошмар, хотя и в различных вариациях – смотря куда я

пыталась попасть, – преследовал меня до пятидесяти четырех лет, пока я не вышла за Теда Тёрнера⁵.

Одно из самых ярких моих воспоминаний того периода: мы – Питер, бабушка, мама и я – молча сидим за обеденным столом в том доме-призраке на горе. Я вижу в окно серый мартовский пейзаж. Во главе стола мама тихо плачет над своей едой. В тарелке шпинат со свиной тушенкой. Мы тогда часто ели консервы, как будто война еще не кончилась и продукты выдавали по карточкам. Меня это всегда удивляло, но теперь я понимаю, что мама боялась остаться без средств и ничего не получить при разводе.

Никто из нас не проронил ни слова по поводу маминых слез. Возможно, мы опасались, что, если облечь увиденное и услышанное в слова, жизнь превратится в такой плотный сгусток печали, что атмосфера взорвется. Даже выйдя из-за стола, мы не говорили об этом. Бабушка не отвела нас в сторонку и ничего не объяснила. Может, если “этого” не назвали, то ничего как бы и не было. Мы с Питером, как обычно, разошлись по комнатам учить уроки. Та сцена за обедом погребена где-то за пределами моей души, а привычка не давать воли чувствам врезалась в генетическую память потомков.

Однако жизнь идет своим чередом, пока не прекратится, тем более если тебе одиннадцать лет и всё вокруг интересно. В тот год я впервые сумела заставить лошадь взять четырехфутовый барьер и увлеклась канастой (карточной игрой). И еще мы с Брук Хейуорд начали писать вместе и получили в Академии Гринвич приз “за лучший рассказ”.

Недалеко от нашего дома, в пределах пешей прогулки, была небольшая конюшня с прокатом верховых лошадей, поменьше той, где Тедди Уол сломал мне руку, с единственной площадкой. Там я стала тренироваться в скачках с препятствиями на белой лошади по кличке Силвер. Моя лучшая подруга Диана Данн тоже брала уроки. Мы обожали нашего тренера, доброго ирландца, которого звали Майк Кэрролл. После возни с сестринским седлом в картонном домике больше всего на свете я любила эти занятия. Лошади были моей страстью и спасением.

Через много лет бабушка рассказала мне, что примерно тогда же мама, по совету докторов, перешла из “Остен Риггз Сентер”, заведения с достаточно либеральным режимом для богатых людей, страдающих расстройствами психики, которое находилось в Стокбридже, штат Массачусетс, в психоневрологический санаторий “Крейг Хаус” в Биконе, штат Нью-Йорк. По мнению врачей, при ее эмоциональной неустойчивости и склонности к суициду маме надо было находиться под постоянным наблюдением. Бабушка была с ней, когда она уезжала, и сказала, что на маму надели смирительную рубашку и что она не узнала свою мать. Немыслимо – мама в смирительной рубашке; до чего ж, наверное, горько было бабушке!

Однажды мама приехала домой в сопровождении медсестры в униформе. Я отказалась с ней встречаться. Когда ее привезли в лимузине, мы с Питером играли наверху в камешки на твердом полу. Бабушка позвала нас вниз.

– Питер, – я схватила его за руку. – Не ходи вниз. Я не пойду. Давай останемся здесь играть. Я дам тебе выиграть, ладно?

– Нет, я спущусь, – сказал Питер и пошел вниз.

Почему я не пошла? Разозлилась на нее за то, что она не живет с нами? Что это было – я-докажу-тебе-что-ты-мне-не-нужна?

Больше я ее никогда не видела.

Должно быть, она сознавала, что это ее последнее возвращение домой. Думаю, она приехала попрощаться – а заодно взять из черной эмалевой шкатулки, которую несколько лет назад ей подарила подруга, Эулалия Чейпин, маленькую бритву. Очевидно, она быстро

⁵ Тед Тёрнер (р. 1938) – основатель новостного канала CNN.

побежала наверх и сумела спрятать бритву в сумочке, пока ее не догнала медсестра, которую специально отправили проследить за тем, чтобы не случилось ничего подобного.

Через месяц, в апреле, в свой сорок второй день рождения, мама оставила шесть записок – Питеру, Пан, мне, своей матери, медсестре, с просьбой не заходить в ее ванную, а позвать доктора, и самому доктору, своему психиатру, которому она написала: “Доктор Беннетт, вы сделали для меня всё, что могли. Простите меня, но это самый лучший выход”.

Затем она пошла в ванную комнату санатория “Крейг Хаус”, осторожно вытащила бритву, которую ей удалось спрятать, и перерезала себе горло. Когда пришел доктор Беннетт, она была еще жива, но спустя несколько минут умерла.

Крылышки бьются всё медленнее, замирают. Дальше – покой.

Едва я вошла в дом, вернувшись из школы, сверху, из своей комнаты, меня позвала бабушка.

– Джейн, с мамой что-то случилось. У нее был сердечный приступ. Папа уже едет. Побудь, пожалуйста, дома, дождись его. Не уходи.

Я развернулась, выбежала на улицу и бежала всю дорогу до конюшни, где обучалась верховой езде. Не помню, чтобы я что-то почувствовала, хотя должна была понимать всю серьезность произошедшего: просто так отец не сорвался бы из города в будний день.

Посреди занятия зазвонил телефон в конюшне. Это был папа, он просил кого-то, кто ответил на звонок, немедленно отправить меня домой. Но я не торопилась. В дорожной пыли было множество дохлых жуков и красивых камешков, которые мне необходимо было рассмотреть. В конце концов я перестала находить поводы для задержек и с трудом забралась на гору. Внизу у лестницы стояла странная машина. “Должно быть, папа взял ее напрокат”, – подумала я и задрожала. Где-то очень глубоко внутри себя, не разумом, а какой-то другой своей частью, в которой таились секреты от меня самой, я чувала, что сейчас будет. Мой *сознающий* разум считал, что это сон, и я вот-вот проснусь. Я открыла тяжелую дверь и вошла в гостиную. Свет не включали, и комната казалась еще более мрачной, чем обычно. Папа и бабушка сидели очень прямо, на разных диванах, лицом друг к другу. Папа посадил меня к себе на колени и сказал, что мама умерла от сердечного приступа.

Смерть. Ну и словечко. Короткое, тяжелое. Я будто взвешивала его на руке, как кирпич. Умерла, как бабочки, припигиленные к доске на противоположной стене гостиной. Там на столе – пинцет и баночки. Еще вчера я видела их, когда шла полировать седло. Она не могла умереть. Она не убрала свои вещи. Может, мне всё это снится. Я смотрела на себя как бы извне, ожидая собственной реакции. Всё вроде было знакомо, хотя выглядело иначе. Из другой комнаты слышалось тиканье часов – неправильное, дребезжащее. Они что, не знают, что время больше не имеет смысла? Я заметила на мебельных чехлах морщинки и попыталась их разгладить. Чтобы стало лучше. Я знаю – в моих силах сделать так, чтобы стало лучше.

Через несколько минут пришел Питер. Папа встал, они с бабушкой поменялись местами, и папа, посадив Питера к себе на колени, сказал ему то же, что и мне. Мне надо было уйти от них всех, побыть наедине с собой, попробовать вернуться в свое тело, разобраться в своих ощущениях.

– Простите. Я пойду к себе.

Поднимаясь к себе, я слышала плач Питера. Я сидела на кровати и думала: почему я не плачу, как Питер? “Мама умерла. Больше я ее никогда не увижу”. Я повторяла это сама себе вновь и вновь, стараясь вызвать слезы. Но ничего не почувствовала.

Я вспомнила, что в тот день, когда она приехала домой в последний раз, я осталась наверху. Почему я не спустилась к ней? Кажется, у меня в груди что-то шевельнулось. Ага,

вот оно. Я нормальная. Но это ощущение быстро исчезло, я опять вышла за пределы себя и опять окоченела.

Когда мне было уже за сорок, я наконец, ни с того ни с сего, безо всякой видимой причины, расплакалась, вспомнив маму, и не могла остановить слез. Они лились из таких сокровенных моих глубин, что я перепугалась – вдруг я не выдержу этого, душа моя разорвется, и никто не сможет меня собрать, как Шалтая-Болтая.

Бабушка с папой организовали мамины похороны, и папа уехал обратно в город, чтобы успеть на свой спектакль, “Мистер Робертс”. Как ни в чем не бывало. Вряд ли это означало, что он совсем не переживал, – просто папа не знал, что делать с переживаниями и как выразить боль. Знал только, как ее скрыть. А может, тоже окоченел, как я. Может, я у него этому научилась.

Вскоре после папиного отъезда я зашла в мамину комнату и увидела ее любимую сумочку, от которой по-особенному пахло губной помадой. На тумбочке рядом с кроватью лежала изрядно потрепанная книжка Дейла Карнеги “Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей”. Частицы неоконченной, теперь уже вечной, маминой жизни были повсюду – на полу гардероба, в карманах пальто. В аптечном шкафчике аккуратно выстроились пузырьки, подписанные “ФРЕНСИС ФОНДА”, с окончанием срока хранения, но она сама скончалась раньше; баночки выстроились, словно осиротели. Как я. Теперь их надо выбросить? А меня?

Диана Данн, моя подруга, недавно говорила, что папа сказал ей: “У Джейн умерла мама, и мы должны сходить туда и увести Джейн к нам”. Видимо, бабушка или папа позволили ему и всё рассказали. Диана говорит, что я жила у них несколько дней, но о маминой смерти не было произнесено *ни слова*. “Ты вообще не плакала, – сказала она. – Мне даже страшно было. Твоя мама только что умерла, я не понимала, почему никто с тобой не поговорил. Ты была моей лучшей подругой. Я любила тебя и не знала, чем тебе помочь”.

За все последующие годы мы с отцом никогда не говорили о маме вплоть до его собственной смерти. Я боялась, что эта тема его расстроит. Я была уверена, что он чувствовал себя виноватым, так как просил у нее развода. Чтобы стало лучше.

Я даже не знаю, знал ли он, что я *знаю*, что не было никакого сердечного приступа. Нет вопроса – нет и ответа. Питер, напротив, готов был обсуждать это с кем угодно. Через восемь месяцев после маминой смерти, на ближайшее Рождество, папа приехал из Нью-Йорка в Гринвич, где мы жили под присмотром бабушки и горничной Кэти, чтобы вместе с нами вскрыть подарки. Питер завалил подарками для мамы большое кресло с высокой спинкой и приложил к ним письмо. В памяти всплывает душераздирающая картина: одиннадцатилетнему мальчику очень нужно сказать маме о том, как он любит ее и как скучает по ней, и он хочет, чтобы люди ее уважали! Но, боже правый, он не мог бы сделать ничего хуже, чтобы еще больше испортить это Рождество. Я жутко разозлилась на Питера, а папа увидел в его поступке стремление вызвать жалость к себе, и я была с ним солидарна. Надо же было такое подумать!

На следующей неделе после того, как мама умерла, мои учителя буквально из кожи вон лезли, стараясь проявить сочувствие и понимание. Я начала думать, что мне очень не хватает какого-нибудь наказания – я продемонстрировала бы свою храбрость и хладнокровие. Но за свою закрытость я получила психологический бонус! Главная идея моего отрочества возторжествовала, и я принялась оттачивать искусство *чувствовать не то, что чувствуешь, и слышать не то, что слышишь*. Не скажу, чтобы я *осознанно* хоронила свои чувства. Просто я делала это так долго, что начала *жить* в таком ключе. Я уже сама не знала, что я знала, о чем думала, что ощущала и даже кем я была в физическом смысле. Я становилась такой, какой, по-моему, меня хотели бы видеть те, кого я любила и в чьем внимании я нуждалась.

Я старалась вести себя идеально. Так было безопаснее. В те времена эта тактика позволяла мне выживать.

Глава 2

Голубая кровь

*И всё же те, кто ушел много лет назад, до сих пор живы в нас
– как предрасположенность, как бремя нашей судьбы, как бурлящая
кровь и как всплывающие из глубины времен движения.*

Райнер Мария Рильке. “Письма к молодому поэту”

Прошлое не умирает. Это и не прошлое.
Уильям Фолкнер. “Реквием по монахине”

Мать

“Она была нашим кумиром, всегда в центре событий, и до чего же она любила жизнь!”
Слушая голос на другом конце провода, я думала, что эта дама, не иначе, сбрендила, если моя мать для нее кумир.

Моей собеседницей была Лора Кларк. В середине тридцатых годов она работала в Нью-Йорке у Элизабет Арден – придумывала для посетительниц ее салона красоты нарядные платья. Однажды она вошла в зал, где моя мать, постоянная клиентка Арден, только что закончила косметические процедуры. Едва увидав эту красивую девушку, мама, забыв про платье, пригласила ее выпить чаю.

– Боже мой, у вас усталый вид, – сказала мама. – Подойдите сюда, присядьте.

И у них завязалась беседа, которая положила начало дружбе на всю жизнь.

Как выяснилось, Лора Кларк больше двадцати лет кряду пыталась меня найти, чтобы поговорить о моей матери. Однажды в семидесятых годах она даже зашла за кулисы к моему отцу после спектакля “Первый понедельник октября” на Бродвее и спросила, как ей связаться со мной. “Обратитесь в полицию”, – грубо ответил он, намекая на мою вызывающую пересуды деятельность.

Не припоминаю, чтобы я получала письма от Лоры Кларк, но, если бы я увидела хоть слово о ее дружбе с моей матерью, я немедленно выбросила бы это письмо. Моей матери не было места в моей жизни – так я считала.

Теперь же, много лет спустя, пришло другое письмо от Лоры, с телефонным номером, по которому я могла позвонить, если бы захотела поговорить. Она не знала о моих планах на эту книгу и о том, что я дошла до того места, когда мне необходимо было наконец понять свою мать. Я сидела за письменным столом, работала, и вдруг решила позвонить Лоре. Я созрела. Или думала, что созрела.

Мягкий голос Лоры описывал, казалось, незнакомую мне женщину.

– Ваша мать взяла меня под свое крылышко, приглашала меня на чудесные вечеринки, которые она устраивала в своем поместье на Лонг-Айленде и в клубе “Марокко”. Мужчины, увидев ее, теряли самообладание. Ей достаточно было искоса бросить взгляд на мужчину в противоположном углу комнаты, и он был в ее власти.

– Она была не замужем? – спросила я. – Пан, ее дочь, уже родилась?

– Когда мы познакомились, она уже овдовела. Ее первый муж, Джордж Брокоу, недавно скончался, а дочери, видимо, было года два.

Дальше Лора рассказала, как позже, во время Второй мировой войны, она с маленьким сыном Дэнни уехала в Лос-Анджелес искать работу.

– К тому времени ваши родители, конечно, уже были женаты, а вы с Питером были маленькие. Ваша мама разыскала меня, водила на вечеринки, как в Нью-Йорке, знакомила с разными людьми. Меня тогда звали Лора Пайзел. Не помните?

– Так вы та самая Лора! Конечно, я помню вас и Дэнни. Он был ровесником Питера, много времени проводил у нас дома. Расскажите мне еще о маме. Вы когда-нибудь видели ее подавленной?

– Ни разу. Она всегда была бодрая и веселая, точно бабочка. Ее самоубийство шокировало меня. По странному совпадению, когда я услышала об этом по радио, на мне было черное кружевное платье, которое она мне подарила.

Мне не раз приходило в голову, что маме, наверно, трудно было приспособиться к более замкнутому образу жизни с отцом в Калифорнии, и я спросила об этом Лору.

– Да, они были очень разные, ей пришлось нелегко, – продолжала Лора, вспоминая дальше Лос-Анджелес сороковых годов, затем добавила: – Знаете, Джейн, ваша мама была очень чувственной женщиной с современными взглядами на жизнь.

– Что вы имеете в виду? – взволнованно спросила я, выпрямившись в своем рабочем кресле.

– Во время войны ваш отец служил на флоте, далеко от дома. Френсис осталась одна и, пока его не было, до смерти влюбилась в одного молодого человека по имени Джо Уэйд. Он был дьявольски красив, настоящий светский лев. Она с ума сходила по нему. Все женщины с ума по нему сходили.

Сердце мое забилося, я прекратила записывать.

– Вы не могли бы рассказать мне о нем?

– Он много пил и вел себя ужасно, – ответила Лора. – От него можно было ожидать чего угодно, мы боялись за нее. Мы волновались, что будет, когда вернется ваш отец.

Меня вдруг осенило.

– Он случайно не был музыкантом?

Лора немного помолчала, затем сказала:

– Ну да, кажется, был.

О господи! Вот оно. Головоломка начала складываться.

Мне было семь лет, папа служил на флоте; мы с мамой гуляли по аллее перед нашим домом в Калифорнии, и вдруг, ни к селу ни к городу, она сказала: “Никогда не выходи замуж за музыканта”. Странный совет для семилетней девочки, да и, насколько я припоминаю, больше мама никогда не пыталась учить меня жизни, поэтому я хорошо помню тот случай. Много лет я гадала, что же значила эта фраза. Что-то я слышала о некоем молодом музыканте, ее протеже, которого она опекала, пока папы не было. Теперь мне всё ясно: она влюбилась в Джо Уэйда, а он ее бросил.

– Вы не знаете, Джо Уэйд бывал у нас дома? – спросила я Лору. Меня трясло – надеюсь, Лора не заметила этого по моему голосу.

– Бывал, и часто. Я же говорю, он вел себя ужасно, точно животное. У него был пистолет; как-то раз он выстрелил в потолок и проделал в нем дыру.

– В потолке ее комнаты? – спросила я, силясь представить себе, что же там происходило. Ничего себе! Моя мать – прямо Мэй Уэст⁶.

– Да, – ответила Лора. – Ваша мама страшно переволновалась из-за этой дырки в потолке.

Надо полагать! Что она могла сказать папе, когда он вернулся? Например: “Не бери в голову, Хэнк. Я только опробовала свой новый пистолет, и вот...”

⁶ Мэй Уэст (1893–1980) – американская актриса и драматург со скандальной репутацией.

Я ощутила внутри себя тектонический сдвиг глубинных слоев, мама *становилась* *моей*. Впервые я видела ее не жертвой, а женщиной, которая предъявляла свои права на счастье. Я повесила трубку и безудержно, безутешно зарыдала.

Предыдущей осенью также при случайном стечении обстоятельств выяснилось, что доктор Пегги Миллер, психолог из Пасифик-Палисейдс, пригорода Лос-Анджелеса, кое-что знает о моей матери. Пегги была невесткой маминой ближайшей подруги Эулалии Чейпин. Я сидела с Пегги у нее в гостиной и чувствовала себя археологом, который с маниакальным упорством ищет в прошлом ключи к настоящему.

– Расскажите мне о моей матери, Пегги. Всё, что вам известно.

Как и Лора, она сказала, что мама любила всякие приключения и всегда была в центре событий.

– Она очень нравилась моему покойному мужу Дику, хотя он намного моложе ее. Он говорил, что она была самым жизнерадостным и интересным человеком из всех его знакомых, мужчины слетались к ней, словно мотыльки на огонек.

Я спросила о маминой связи с Джо Уэйдом, и она подтвердила, что действительно так всё и было, а ее свекровь их прикрывала – якобы это у нее роман с Джо – и предоставляла им свой дом для свиданий.

Пол Перальта-Рамос, мамин кузен, сын художницы и светской львицы Миллисент Роджерс, сказал:

Френсис была незаменима; когда у нас что-то случалось, мы шли напрямик к ней. Ее ничто не шокировало. Если девушка беременела от кого-то из нас, мы бежали к вашей маме. Она находила врача. Она была надежна, как скала, решала все проблемы.

Его слова меня ошеломили. Моя мать? *Скала!*

Я ни разу не видела свою мать веселой и жизнерадостной, не могла представить себе ее всеобщим кумиром и опорой, какой описывали ее эти люди, – я что, ничего не соображала? Почему я помню ее лишь грустной нервной жертвой, на которую я ни в коем случае не хотела бы быть похожей и обратиться за помощью к которой – всё равно что попытаться пройти по зыбучим пескам? Ответить на эти вопросы я смогла через год, когда адвокаты помогли мне добыть в “Остен Ригтз Сентер” мамину историю болезни.

Однажды вечером, сидя одна в отеле, я распечатала толстый конверт. Увидев надпись “История болезни Френсис Форд Сеймур Фонды”, я перестала дышать. Я быстро разделась и забралась в постель. Начала читать – и вся задрожала, так что зубы стучали.

Среди ежедневных записей медсестры о плачевном состоянии моей матери и назначенных ей лекарствах я обнаружила восемь листов, собственноручно напечатанных мамой при поступлении в клинику, с одинарным интервалом между строчками и многочисленными ее же поправками и примечаниями.

Невероятно. Я страстно захотела узнать побольше о ее молодости. Теперь ее история была у меня в руках. Сейчас я поведаю вам о тех эпизодах, которые помогли мне понять маму – а стало быть, и себя. В дополнение к ее записям я расскажу о том, что узнала из других источников, в частности от своей сестры по матери Пан Брокоу.

Мамин отец, Форд Сеймур, адвокат и владелец крупного бюро в Нью-Йорке, посетив свой родной город в возрасте тридцати пяти лет, увидел в окне местной фотостудии портрет девятнадцатилетней Софи Бауэр. Она жила в Моррисбурге, на канадском берегу реки Святого Лаврентия. Чарующий свет, которым лучились бабушкины глаза, и ее приоткрытый

рот со слегка вывернутыми наружу губками, конечно же, сразили его на месте. Мой дед был чрезвычайно обаятельным, бесовски красивым джентльменом из богатой семьи с хорошими связями. По рассказам моей сестры Пан, в нем чувствовалось “какое-то сумасбродство, что очень нравилось женщинам”. Сумасбродство – самое подходящее слово! Врачи из “Остен Ригтз Сентер”, исходя из того, что о нем говорила мама, определили у него параноидальную шизофрению.

Он твердо решил жениться на юной Софи, а она по молодости не сумела распознать тревожные симптомы. После свадьбы он увез ее в Нью-Йорк. Он возвращался с работы, из своей конторы, с чудовищными головными болями, так что бабушке приходилось прикладывать к его голове холодные компрессы. Ее мать, приехав к ним в гости, моментально поняла, в чем дело, и сказала дочери: “Дорогая, голова у него болит оттого, что он пьет!” Действительно, дедушка оказался дамским угодником, поэтом-повесой с психическими отклонениями, *к тому же алкоголиком*. Алкоголизм, как говорил кузен, был у него наследственный. На фоне паранойи любые знаки внимания, которые коллеги мужского пола оказывали его молодой жене, вызывали у него патологическую ревность, и в 1906 году, вскоре после рождения их первенца (моего дяди Форда), дедушка оставил практику в Нью-Йорке и купил ферму на реке Святого Лаврентия, поблизости от Моррисбурга. Так бабушка вновь оказалась в Канаде, откуда уехала год назад и где в апреле 1908 года родилась моя мать. Когда маме исполнился год, бабушка родила третьего ребенка, Джейн, но с малышкой от рождения что-то было неладно. Впоследствии выяснилось, что она страдает эпилепсией и нуждается в постоянном наблюдении.

Жилось Сеймурам непросто. Мама писала, что ее отец шлепал детей так часто и жестоко, что бабушка умоляла его прекратить. В наши дни это квалифицируется как насилие над детьми. К тому же дверь его дома была закрыта для бабушкиных знакомых, он завешивал окна и запирался у себя в комнате. Единственным человеком из внешнего мира, которому позволялось войти в дом, был настройщик рояля. Мама писала, что, когда ей было восемь лет, этот настройщик приставал к ней с сексуальными домогательствами.

Я уверена, что та травма повлияла и на ее жизнь, и на мою – скоро я до этого доберусь.

Дедушка больше не работал, Сеймурам помогали деньгами богатые родственники, а помимо этого они разводили кур и продавали яйца и яблоки. Стиральных машин и электрических утюгов тогда еще не изобрели – при том что дедушка требовал, чтобы всё всегда было отглажено; всё делали вручную, кустарными методами – и хлеб пекли, и мыло варили, и масло сбивали. Управляться с хозяйством и присматривать за больной дочкой, Джейн, бабушка могла только в том случае, если малышка цеплялась за ее юбку и следовала за ней по пятам, куда бы та ни шла. Можно ли было при таком образе жизни уделить достаточно внимания двум другим детям? Сердце мое разрывается, как представляю себе свою маму, напуганную отцовскими взбучками, затаившую в сердце тайну о сексуальных домогательствах настройщика и видевшую, что маленькая Джейн полностью завладела остатками материнского внимания. Мама писала, что очень сердилась на родителей, которые нарожали детей, а потом не могли ни достойно содержать их, ни дать им образование.

У дедушкиной сестры Джейн Сеймур Бенджамин была дочь Мэри, которая вышла замуж за полковника Роджерса, профессионального военного, сына и наследника Генри Хаттлстона Роджерса, вице-президента “Стандард Ойл”. Спустя годы Мэри Бенджамин Роджерс, добрая и благородная мать семейства, видимо, поняла, что семья ее беспокойного дядюшки бедствует на своей канадской ферме. Через пятнадцать лет у бабушки на руках было уже пятеро детей, и Мэри решила взять своих кузенов в Массачусетс, в Фэйрхэвен. Перед отъездом бабушка пристроила пятилетнюю Джейн в лечебное учреждение, где та впоследствии умерла от пневмонии.

Два последних года средней школы мама провела в Фэйрхэвене, и ее двоюродная сестра Мэри с дочерью, Миллисент Роджерс, на шесть лет младше моей мамы, окружили ее заботой. Миллисент, которая выросла яркой красавицей и модницей, не пропускала светских мероприятий, занималась дизайном ювелирных украшений и благотворительностью. О ее таланте и вкусе можно судить по коллекции ее художественных произведений, а также массивных золотых и серебряных украшений, которая хранится в музее Миллисент Роджерс в Таосе, штат Нью-Мексико. Мамины родственницы были женщинами интересными, великодушными и сильными – такой вот прочный связывающий состав – и, очевидно, служили достойным примером для подражания. Однако мама в своих записях дает понять, что стеснялась и побаивалась их. Врач отметил в истории болезни: “Ее постоянно мучило ощущение собственной неполноценности, интеллектуального и социального неравенства, словно она бедная родственница”.

В их доме мама познакомилась с мисс Харрис, секретаршей с Уолл-стрит, которая зарабатывала 10 тысяч долларов в год – недурное жалованье по тем временам. Возможно, поэтому мама решила освоить профессию секретаря. Однажды она сказала Эулалии Чейпин, своей подруге, что намерена “поступить на курсы секретарей, научиться очень быстро печатать на машинке и стать самой лучшей секретаршей в городе. Потом я атакую Уолл-стрит и выйду замуж за миллионера”. Так она и сделала.

Получив финансовую поддержку от Мэри Роджерс, мама поступила на курсы секретарей Катарини Гиббз, благодаря семейным связям добилась места в банке “Гаранти Траст Компани” и начала постигать деловой мир на практике. Затем, в возрасте двадцати лет, она познакомилась с мультимиллионером Джорджем Брокоу, чья семья сколотила состояние на фабриках по изготовлению военной формы для янки во время Гражданской войны. Брокоу не так давно развелся с Клэр Бут, писательницей и будущей женой медиамагната Генри Люса. В январе 1931 года моя мать и Джордж Брокоу поженились и стали жить в роскошном каменном особняке, окруженном рвом, на углу Семьдесят девятой улицы и Пятой авеню в Нью-Йорке.

Как и ее собственная мать, моя мама вышла замуж за тяжелого алкоголика почти на тридцать лет старше нее. Через несколько лет Брокоу скончался в клинике, оставив маме трехлетнюю дочь (мою сестру Френсис Брокоу по прозвищу Пан) и немалое состояние. Не нуждаясь больше в помощи доброй родни, мама сама превратилась в щедрого спонсора и незамедлительно забрала из Фэйрхэвена в Нью-Йорк мать, сестру Марджори и брата Роджерса, чтобы они жили с ней и помогали растить Пан. Тогда-то мама и встретила свою будущую подругу Лору Кларк, прекрасную юную манекенщицу из салона Арден.

Закрыв медицинскую карту моей матери, я лежала в постели с чувством глубочайшей печали и одновременно огромного облегчения. Я хотела бы обнять ее, защитить, сказать ей, что всё было правильно, что я любила ее и простила, потому что теперь всё поняла. Я наконец-то поняла, откуда взялся один из доставшихся мне по наследству призраков, который так долго прятался где-то в глубине, – призрак вины девочки, перенесшей насилие, как моя мать. Почему, спросите вы, ребенок должен испытывать чувство вины за совершенное над ним насилие, которого он не мог предотвратить?

В течение нескольких лет – не осознавая причин этого интереса – я занималась проблемой влияния сексуальных домогательств на развитие детей. Я выяснила, что ребенок, в силу своего возраста будучи не в состоянии обвинить взрослого обидчика, воспринимает травму как собственный дурной поступок. Под гнетом этого чувства девочка способна обвинить во всех проблемах себя, возненавидеть свое тело и решить, что исправить положение можно, лишь сделав свое тело идеальным, и это чувство может передаваться ее дочери. Так, в истории

моей матери меня поразило, что она стыдилась своих пластических операций по коррекции формы носа и груди.

Девочка, подвергшаяся сексуальному насилию, может подумать, будто сексуальность – ее единственное достоинство, а это нередко приводит к беспорядочной половой жизни в подростковом возрасте. В маминых описаниях ее школьных лет без конца повторяется слово “мальчики”. Зачастую от жертв сексуальных преступлений как бы исходит какое-то странное свечение – результат сексуальной энергии, сообщенной им давным-давно. Я замечала это в женщинах, о которых мне было известно, что они подверглись насилию или кровосмесительным связям, и видела, как тянет к ним мужчин... Когда-то отец сказал о маме: “Она была... такой яркой, как следящий прожектор”; после всего, что я узнала, эта фраза обрела особую остроту.

Теперь мне ясно, что моя мама была одновременно такой, какой ее описывали – кумиром, свечой, прожектором, – и той, которую я знала в детстве – прекрасной, но израненной бабочкой, жертвой, неспособной дать мне необходимые любовь и внимание, потому что она не могла дать их себе. Я – жизнерадостная девочка, оптимистка – с присущим детям животным инстинктом чувствовала глубокую боль, причиненную моей матери много лет назад. Я вдыхала гнетущий аромат ее слабости – вероятно, усиленный мужчинами, которых она выбирала. В детстве это меня отпугивало, я бежала от этого. Теперь, будучи взрослой, я вижу, что это ее, а не моя история, и могу включить ее историю в свою собственную – ту, ради которой и задумана эта книга.

Отец

Клан моего отца происходит из долины в Апеннинских горах, расположенной примерно в двенадцати милях от итальянской Генуи. Город, поместившийся в глубокой долине, назывался Фонда, что означает “дно”. В XIV веке один из моих далеких предков, маркиз Генуэзской республики де Фонда, предпринял попытку свержения правительства аристократов, с тем чтобы дать возможность рядовым гражданам выбирать дожей и сенат. Мужчины в моем вкусе. Его затея провалилась. Он был объявлен классовым изменником, бежал из страны и нашел пристанище в Голландии, в Амстердаме. Думаю, именно тогда в гены рода Фонда проник голландский кальвинизм. Сменилось не одно поколение, и Фонда стали больше голландцами, чем итальянцами, хотя, как говорит мой брат, они сохранили в себе “достаточно Италии, чтобы подмешать немного музыки”.

Первым из фамилии Фонда океан пересек Йеллис Дау, приверженец голландской реформатской церкви; в середине 1600-х годов он бежал в Новый Свет, спасаясь от преследований из-за религии. Он поднялся на лодке по реке Мохок и обосновался в индейской деревне под названием Кахнавага на территории племени мохок. С тех пор, как мои голландско-итальянские предки перебрались в долину Мохок, индейцев в этих краях больше не осталось; теперь там стоит город, который называется Фонда, штат Нью-Йорк.

Этот город, недалеко от Олбани, существует по сей день. Чтобы добраться туда из Нью-Йорка на машине, надо ехать вдоль реки Гудзон на север, затем на запад, а с центрального вокзала ходит поезд, на котором я ездила шесть лет – сначала в Трой, в школу-пансион Эммы Виллард, а потом в Покипси, в колледж Вассара⁷.

В семидесятых я со своими детьми и кузиной Тиной, дочерью Дау Фонды, прямого потомка того самого Йеллиса Дау, приехала в город Фонда. Большую часть времени мы провели на городском кладбище у покрытых лишайником, кое-где опрокинутых надгробий с высеченной на них старинной итальянской фамилией Фонда, которой предшествовали гол-

⁷ Один из самых престижных колледжей штата Нью-Йорк.

ландские имена – Питер, Тен Эйк, Дау. Нашлись среди них и Генри с Джейн – наши давно почившие тезки.

Мамины предки, тори, симпатизировали Британии. Фонда, убежденные либералы, горячо поддерживали колониальную идею. После Гражданской войны Тен Эйк Фонда, мой нью-йоркский прапрадед по отцовской линии, увез семью Фонда в штат Небраска, в Омаху, где и вырос мой отец. Тен Эйк служил там телеграфистом – эту профессию он освоил в армии. В те времена Омаха была крупным узлом новой железнодорожной сети.

Папины родители умерли до моего рождения, я никогда их не видела. Дед, Уильям Брейс Фонда, управлял типографией в Омахе, а бабушка Герберта, на которую я похожа внешне, занималась домом и тремя детьми – моим отцом и его сестрами Гарриет и Джейн. Папины родители, как и многие их родственники, были последователями христианской науки, церковными чтецами из мирян и практиками. Судя по фотографиям, это была дружная, счастливая, добрая семья.

Я часто перебирала семейные архивы, сложенные в коробки из-под обуви, в поисках разгадки мрачного состояния духа моего отца. И не только я увлекалась подобными исследованиями. Несколько лет назад, когда выяснилось, что одной из оставшихся в живых папных сестер, моей тете Гарриет, жить осталось недолго, я навестила ее в Фениксе, чтобы задать волнующие меня вопросы.

– Папа был близок со своей матерью? В семье были какие-то проблемы?

– Не было вовсе! – ответила она. – Я вообще не понимаю, почему вы все разглядываете здесь эти фотографии и расспрашиваете меня о нашей семье!

Я удивилась:

– Что вы имеете в виду, тетя Гарриет? Кто это “вы все”?

Тетя Гарриет назвала имена моих кузин и их дочерей. Ага, подумала я. Видимо, недуг фамилии Фонда проник и в другие ее ветви.

После визита к тете Гарриет я снова подумала, что мои родственники по папиной линии не слишком увлекались самоанализом. В ее воспоминаниях не было ни малейшего намека на пессимизм, никаких нюансов. Если верить ее версии, они вели идиллическую жизнь – наверно, так и было.

Я знаю, что папа глубоко уважал своего отца, Уильяма Брейса Фонду, – человека немногословного, как и он сам. Папа рассказывал мне о двух весьма примечательных случаях.

Как-то вечером, после обеда, Уильям Брейс повез сына в типографию. Он подвел его к окну на втором этаже и показал ему квадратный внутренний двор, где толпа орущих мужчин размахивала горящими факелами, дубинками и ружьями. Во дворе, в импровизированной тюрьме, удерживали молодого негра, якобы виновного в изнасиловании. Ни суда, ни хотя бы официального обвинения. Там же гарцевали на лошадях мэр и шериф, пытаясь утихомирить толпу. В конце концов парня вывели на площадь и в присутствии мэра с шерифом вздернули на фонарном столбе. Затем его тело изрешетили пулями.

Папе было четырнадцать лет, он смотрел на расправу, обомлев от ужаса. Его отец не произнес ни слова – ни тогда, ни по пути домой, ни позже. Просто промолчал. Те переживания навсегда впечатались в психику моего отца. Они проявились в его ролях в “Двенадцати разгневанных мужчинах”, “Случае в Окс-Боу”, “Молодом мистере Линкольне” и “Кларенсе Дарроу”, а также в тех невысказанных словах, которые отчетливо слышались мне на протяжении всей моей жизни: расизм и несправедливость – это зло, с которым нельзя мириться.

Второй эпизод связан с отношением папиного отца к актерской игре. Папа служил клерком в “Ритейл Кредит Компани” в Омахе с жалованьем 30 долларов в неделю, но мать Марлона Брандо, подруга моей бабушки, привела его в местный театр, и папе дали там роль

Мертон в спектакле “Мертон в кино”. Когда папа заговорил о карьере актера, отец сказал, что его сыну не пристало зарабатывать на жизнь “в каком-то ненастоящем мире”, в то время как другие профессии – например, его собственная – гарантируют стабильный доход. Папа заспорил, и отец вообще перестал с ним разговаривать – *на полтора месяца*.

Однако премьера с моим папой в роли Мертон состоялась. И вся семья, включая его отца, отправилась в театр. Когда папа вернулся домой после спектакля, его родные сидели в гостиной. Отец уткнулся носом в газету, по-прежнему игнорируя сына. Мать и сестры принялись обсуждать папину игру, рассыпаясь в комплиментах, но в какой-то момент его сестра Гарриет выразила мнение, что в одном эпизоде он мог бы сыграть иначе. И вдруг папин отец опустил газету и сказал ей через всю комнату: “Прекрати. Он был безупречен!”

Папа говорил, что это был лучший отзыв в его карьере, и каждый раз, когда он рассказывает эту историю, у него наворачиваются слезы на глазах.

Помимо этих фактов, у меня не так уж много подсказок, раскрывающих папин характер. Думаю, та угрюмая, холодная, порой пугающая личность, в которую превратился мой отец, сформировалась под влиянием атмосферы подавления и ограничений, окружавшей папу в юности, вкупе с врожденной склонностью к депрессиям. Из разговоров с родственниками я с удивлением узнала, что скрытая депрессия свойственна всему роду Фонда. Папин кузен Дау страдал депрессией, и я подозреваю, что папин отец тоже был подвержен ее приступам.

Мой папа – это клубок противоречий. Джон Стейнбек писал о нем:

Хэнк производит на меня впечатление человека, который проникает тебе в душу, но не допускает к себе, человека мягкого и вместе с тем вспыльчивого, способного к взрывам необузданной ярости, равно критичного к людям и к себе самому, узника, рвущегося на свободу из темницы, хотя свет его пугает; он не терпит внешних ограничений и сам заковывает себя в железные цепи. На его лице читается борьба противоположностей.

Папа часами мог вышивать сложный узор, который сам же и придумал, или плести макраме. Он прекрасно рисовал, и в его актерской игре нередко чувствовалась мягкость без каких-либо ноток мачизма. Но я не назвала бы его мягким. Мягким он мог быть с абсолютно незнакомыми ему, посторонними людьми. Мне не раз встречались его случайные попутчики, с которыми он когда-то летел одним рейсом через Атлантику и которые потом вспоминали, какой он открытый человек, как они выпили и проболтали “восемь часов подряд”. Меня это злит. *Со мной* он ни разу не болтал хотя бы полчаса! Но я уже поняла, что люди, обычно замкнутые и зажатые, с незнакомыми собеседниками, с любимыми животными, садовыми растениями и прочими предметами своих увлечений вполне способны проявить душевную теплоту. В стенах нашего дома папа поворачивался к нам своей мрачной стороной. Мы, его близкие, жили в постоянном ощущении, будто идем по минному полю и должны вести себя так, чтобы не вызвать взрыв его гнева. При таком вечном напряжении я пришла к убеждению, что близость таит в себе угрозу и безопаснее держаться на отдалении.

Лет в двадцать с небольшим папа, спросив позволения у отца, поехал на машине с семьей своего друга на Кейп-Код и вскоре завязал тесные контакты с труппой летнего театра “Юниверсити Плейерз”, который базировался в Массачусетсе, в городе Фолмуте. Среди актеров театра оказался и Джошуа Логан, один из моих будущих крестных отцов. В театре только папа не принадлежал к Лиге плюща⁸.

⁸ Лига плюща – восемь старейших и наиболее привилегированных частных колледжей и университетов Америки.

Следующим летом в фолмутский “Юниверсити Плейерз” пригласили Маргарет Саллаван – миниатюрную, талантливую, кокетливую и темпераментную красавицу из Вирджинии, напоминавшую Скарлетт О’Хара, – и она похитила сердце робкого юноши из Небраски. Их роман длился до тех пор, пока Саллаван не получила главную роль в одной из пьес на Бродвее.

Говорят, у них была непростая любовь, полная страстей и конфликтов. Через полтора года папа сделал Маргарет предложение, она ответила согласием, они поженились и переехали в квартиру в Гринвич-Виллидж. Не прошло и четырех месяцев, как всё закончилось. Папа перебрался в отель с тараканами на Сорок второй улице, а Саллаван сошлась с бродвейским продюсером Джедом Харрисом. Папа стоял ночами под ее окном, зная, что она сейчас с Харрисом. “Это сводило меня с ума, – говорил он через много лет Говарду Тейхманну. – Никогда в жизни я не чувствовал себя до такой степени преданным, отверженным и одиноким”.

После их разрыва, рассказывал папа, он встретил в читальне организации “Христианская наука” некоего мужчину и выложил ему всё, что наболело у него на душе. “Не знаю, что произошло, – говорил он Тейхманну. – Очевидно, в тот день я обрел веру. Понятия не имею, кто был тот человек, но он помог мне оставить мою боль в той маленькой читальне. Я вышел оттуда прежним Генри Фондой. Безработным актером, зато человеком”. Ах, папа, когда я это читаю, мне хочется зарыдать в голос, но почему этот опыт не научил тебя, что беседа с внимательным слушателем целительна и вовсе не свидетельствует о слабости? Если в тот день вера совершила с тобой такое чудо, почему же ты не позволил себе принять ее и почему ты всегда относился с презрением к нашим с Питером попыткам найти помощь в психотерапии или вере, когда мы нуждались в поддержке?

После этого папа явно ушел в себя, перебивался случайными заработками. Тогда многие голодали, и он в том числе. Какое-то время они с Джошем Логаном, Джимми Стюартом и актером радио Майроном Маккормиком снимали двухкомнатную квартиру в Вест-Сайде. Все четверо питались рисом и яблочным бренди. Кроме них дом населяли проститутки, а двумя этажами ниже размещалась штаб-квартира знаменитого гангстера Леггза Даймонда.

В то время как моя мать – женщина, которой суждено было стать его второй женой, – звалась миссис Брокоу и купалась в роскоши, папа едва удерживался на плаву.

В 1933 году состоялась инаугурация президента Франклина Делано Рузвельта, а спустя год папе впервые улыбнулась удача – он стал играть в бродвейском ревю “Новые лица”, в очень смешном скетче, вместе с Имоджен Кока. Папа получил фантастические отзывы, и его карьера рванула вверх. Примерно тогда же его заметил Леланд Хейуорд, восходящая звезда среди продюсеров, который убедил упрямого Фонду поехать в Голливуд на тысячу долларов в неделю. Перед папой открывалось светлое будущее.

Двумя годами позже, в 1936-м, моя мать отправилась по морю в Европу, прихватив с собой свой “бьюик”. В Лондоне она побывала на съемках фильма, в котором главные роли играли папа и французская актриса Аннабелла; там они с папой и познакомились. Папа к тому моменту стал почти знаменитым – в его послужном списке было уже шесть кинолент и главная роль на Бродвее.

“Я всегда получала тех мужчин, которых хотела”, – сказала однажды мама своей подруге. Мой отец был божественно красив и очаровательно застенчив – она его захотела. Он признавал, что, несмотря на застенчивость, мешавшую ему сделать первый шаг, женщина при желании могла очень легко его соблазнить.

Вернувшись в Нью-Йорк, мои родители обвенчались, а еще через год из этого весьма любопытного и сложного генетического сплава возникла я собственной персоной.

Они были совершенно разными людьми. Он восхищался Рузвельтом и его “Новым курсом”, она тяготела к элите, среди которой было много ее родни и которая с опаской поглядывала на “этого типа из Белого дома”. У него были спартанские вкусы, она предпочитала гламур. Он любил слушать Эллу Фицджеральд и Луи Армстронга в клубах Гринвич-Виллиджа и Гарлема. Ей нравились званые ужины в лучших домах Нью-Йорка. Конечно, союз совершенно разных людей тоже может быть благополучным, но...

Мне всегда было легко смотреть на отца через свою собственную призму. Я похожа на него, я взяла его профессию и многие его отличительные черты – к сожалению, в том числе резкость и манеру замыкаться в себе (с этими свойствами я изо всех сил стараюсь бороться). Но отцовские гены сообщили мне и твердость характера человека со Среднего Запада, уважение к честности, недостаточную самооценку, неприятие хвастовства и хамства. Ему я обязана любовью к земле. Хотя он и вырос в Омахе, невозможно жить в Небраске – по крайней мере, в ту эпоху было невозможно – и не любить землю. Средний Запад – это наш сельскохозяйственный пояс, его экономика привязана к бескрайним, как колеблемый ветром океан, лугам на Великих равнинах. Думаю, такое фермерское отношение к жизни папа пронес через всю жизнь до своего смертного часа, а я, как и мои дети, унаследовала это от него.

Меня никогда не интересовало, какие черты я получила от матери: отчасти – из-за сходства с отцом, а отчасти – потому что я старалась дистанцироваться от нее. Но оказалось, что у меня есть и ее качества, которыми я горжусь. Моя потребность быть рядом с людьми и заботиться о них – как и любовь к хорошим вечеринкам – возникла на почве отцовского кальвинизма, замешанного на материнских генах. Щедрость и умение организовать грандиозный домашний прием – это у меня от нее.

В идеальном мире следовало бы учить людей родительству на специальных курсах. Хотела бы я записаться на такой курс. Обязаны же мы пройти школу вождения или пилотирования, прежде чем сесть за руль машины или штурвал самолета. Разумно ли затевать самое сложное и важное дело в жизни, пока мы не докажем свою готовность к нему хотя бы на элементарном уровне? Я многое узнала, прежде чем смогла простить моим родителям их слабость. Надеюсь, и мои дети простят меня.

Но простить, не отдавая себе отчета в том, зачем это надо, равносильно тому, чтобы зашить рану и не извлечь пулю. Нельзя простить, не заглянув в темные уголки детства и не пережив заново не распознанные с той поры ощущения, не назвав их своими именами и не отделившись от них. Такое путешествие в прошлое требует мужества. Лучше, если вас будет направлять умный и чуткий психолог.

Психолог Алис Миллер в книге “Как сломать стену молчания” пишет: “Эмоциональный подход к пониманию правды – необходимая предпосылка для исцеления”. Лишь тогда становится ясно, что дело было вовсе не в нас. Возможно, родители бывали жестоки или невнимательны к нам, но не потому, что мы не были *достойны* любви. Просто они не умели по-другому или у них были психологические проблемы.

Конечно, бывают счастливики, выросшие в семьях, где родители любили и уважали друг друга, где воспитание детей считалось общим делом, а не обязанностью одной только матери, где быть мужчиной – значило любить детей и заботиться о них, где дети видели, что родители улаживают конфликты вежливо и с любовью, где родители, коли уж оказывались с детьми, то всецело отдавали им себя.

Глава 3

Леди Джейн

В детских играх-мечтах я бывала рыцарем и кавалером, только не дамой – продавцом индульгенций, истцом, в выигрыше или в проигрыше, но не той, кого добиваются.

Дениз Левертов. “Повторение алфавита”

Хорошо, что я родилась в самый короткий день года – день зимнего солнцестояния. Это дает мне чувство причастности к первичной энергии Стоунхенджа и Мачу-Пикчу, поскольку и кельты, и инки почитали и отмечали этот день. Нравится мне и то, что я могу оглянуться из своей эпохи на те времена, когда не было пластика, смога, разросшихся пригородов и ресторанов фастфуда. Не было даже телевидения! Я рада, что мне довелось лично ощутить, каково это – жить на планете, население которой намного меньше, чем в нынешние дни. Если точнее, на четыре миллиарда меньше. Четыре миллиарда – это, скажу я вам, *колоссальная* разница. Хотя бы по этой причине жизнь тогда была совсем другой, в одном только Лос-Анджелесе, где я родилась, со всеми его пригородами проживало на семь миллионов человек меньше. Было просторнее, людей с их характерами, дома и машины разделяли большие расстояния, больше было лугов, где девочка могла исследовать природу и слушать птичье пение. Птиц тоже было больше.

В 1938 году, следующем после того, как я родилась, люди оправились и встряхнулись после Великой депрессии. “Новый курс” включал в себя систему социального обеспечения, субсидии фермерам, гарантированную минимальную зарплату и программу жилищного строительства – всё это должно было сгладить социальное неравенство и защитить простых людей от тех, кого Рузвельт в своей произнесенной по этому поводу речи назвал “экономическими роялистами”. В то время как в других частях света поднимал голову фашизм, в США повеяло надеждой.

Когда я родилась, брак моих родителей, вероятно, тоже еще не стал безнадежным. Ближе к родам мама поехала на поезде в Нью-Йорк и зарегистрировалась в роскошной клинике “Докторз Хоспитал”, где болели, рожали и лечились по высшему разряду богатые и знаменитые.

Отец тогда снимался с Бетт Дэвис в “Иезавели”, но, по условиям контракта, имел право улететь в Нью-Йорк, чтобы быть рядом с женой, если роды начнутся во время съемок. Когда подошел срок, Бетт Дэвис пришлось разыгрывать некоторые любовные сцены с ассистентом режиссера по сценарию. Впоследствии она заявила мне с притворным гневом, в своей характерной манере отрывисто пролаяв каждое слово: “Черт возьми, ты увела у меня главного героя!”

Меня называли Леди Джейн Сеймур Фонда. “Леди”! Ровно так меня и нарекли! Позже, когда я пошла в школу, на метках, пришитых к моим воротничкам, было написано: “Леди Фонда”. Не иначе, по материнской линии я состояла в родстве с леди Джейн Сеймур, третьей женой Генриха VIII. Но что толку в королевском звании – несчастная женщина умерла вскоре после того, как дала жизнь долгожданному сыну короля. Я вовсе не хотела как-то выделяться среди других, не говоря уж о том, что не стремилась походить на леди. В довершение всех бед мое имя писалось *Jaune*. Это была дань фамилии Фонда: второе имя моего отца было *Jaunes*.

По-видимому, на папу мое появление на свет произвело сильное впечатление. В его биографии приводятся такие его слова: “Это был замечательный день! Я отснял своей «Лейкой» несколько десятков кадров. Медсестре приходилось каждый вечер меня выгонять”. Я

читала это с удовольствием. Эти снимки я сохранила. Я запечатлена или одна в колыбели, или на руках у медсестры в белой маске. На руках у мамы меня нет нигде.

Вряд ли маму не радовало мое рождение, но, если верить бабушке Сеймур, она очень хотела сына. В те годы женщинам не рекомендовали делать кесарево сечение более двух раз, а она уже имела мою сестру, Пан, и в ее понимании эти роды были последними, поэтому она предпочитала увидеть пенис.

Как соблазнительно было бы списать чувство неполноценности, преследовавшее меня всю жизнь, на это обстоятельство!

Через два года, несмотря на предостережения доктора, мама предприняла последнюю попытку родить сына. Бабушка Сеймур говорила, что, если бы и в третий раз оказалась девочка, мама усыновила бы мальчика – до такой степени это было для нее важно. Мама вновь легла в ту же клинику, где рожала меня, но когда на свет появился Питер, она, вместо того чтобы с размахом отпраздновать событие и вернуться домой с сыном, *на семь недель* переехала в отель “Пьер”. Что всё это значило?

В поисках ответа я расспросила психиатра Сьюзен Блюменталь. Доктор Блюменталь занимала должность помощника главы Департамента здравоохранения США и заместителя помощника министра США по охране здоровья женщин. Государственный эксперт и ведущий специалист по женской депрессии и суициду, она также была клиническим профессором-психиатром Джорджтаунского университета и медицинского колледжа Университета Тафтса. Доктор Блюменталь объяснила мне, что мама, судя по ее поведению, страдала послеродовой депрессией – аффективным расстройством (расстройством настроения), которое пагубно сказывается на здоровье как матери, так и ребенка. Послеродовую депрессию не всегда выявляют даже в наши дни, а тогда мамы докторов, вероятно, вовсе не видели в этом проблемы, требующей самого пристального внимания. Кроме того, доктор Блюменталь сказала, что биполярный (маниакально-депрессивный) психоз у женщин нередко начинается как раз после родов. После многих лет болезни, под самый конец, у моей матери диагностировали именно его.

Итак, когда мы с Питером пришли на эту землю, все по-своему прятались. Мама пряталась депрессией, папа, улавливая мгновенья фотоаппаратом, по-настоящему не включался в нашу жизнь, медсестры закрывались медицинскими масками.

Ради рождения Питера папа освоил вместо фотоаппарата видеокамеру и, вернувшись домой в Калифорнию, сразу же показал нам с Пан фильм, который снял непосредственно перед маминым переселением в “Пьер”. Я прекрасно помню, как сидела в гостиной, рядом с жужжащим шестнадцатимиллиметровым проектором, и смотрела на Питера у мамы на руках. Это мое первое отчетливое воспоминание. Дно жизни вышибло, я летела в черную дыру. Недавно я нашла бабушкино письмо, где были такие строки: “Никогда не забуду твою реакцию, когда ты увидела Питера у мамы на руках. По твоим щекам текли слезы, но ты плакала молча”. Думаю, именно тогда я из чувства самосохранения затаила где-то в глубине себя часть своей мягкости. Лишь спустя шестьдесят лет, в начале моего третьего действия, я начала разбираться, что к чему.

Я помню тот день, почти через два месяца после рождения Питера, когда мама наконец вернулась домой в Калифорнию. Я глядела на нее, а она стояла в двери нашей детской с Питером на руках. На ней были темно-синяя юбка и темно-синий свитер с коротким рукавом и двумя вышитыми корабельными флажками. Терпеть не могу темно-синий цвет.

По воспоминаниям бабушки, с того дня, как мама вернулась из больницы с Питером, я не позволяла ей длительных касаний, а если она это делала, я принималась плакать. “Ты не могла простить свою мать, – писала мне бабушка. – Ты думала, что она отвергла тебя из-за Питера”. Ее невидящий взгляд меня замораживал. Она не любила меня. А папа любил. Особенно в раннем детстве, и я это знала. Я была сорванцом и унаследовала черты рода

Фонда. Летом он брал меня на руки, нес по лестнице вниз в бассейн и играл со мной в воде. Пока мы спускались, я утыкалась носом ему в плечо и вдыхала запах его кожи. От него всегда вкусно пахло мускусом – я обожала этот аромат... аромат Мужчины. Да, он был счастлив со мной, маленькой, а я нутром чуяла, что его команда выигрывает, и во что бы то ни стало я постараюсь попасть в его команду.

Первые четыре года я жила в Калифорнии, в огромном доме, который располагался между Беверли-хиллз и морским городом Санта-Моникой. На той же улице стоял большой плантаторский дом Маргарет О'Брайен. За углом жил продюсер Дор Скарри – с его дочерьми Джоди и Джилл я потом училась в школе. Мама купила дом и для бабушки Сеймур, неподалеку от нас.

Сейчас наш бывший дом принадлежит актеру и режиссеру Робу Райнеру и его жене Мишель. В девяностых годах я с моим третьим мужем Тедом Тёрнером принимала участие в оscarовских мероприятиях, которые проходили в новом крыле дома, обустроенном под просмотровый зал. В перерыве я спросила у Роба Райнера позволения побродить до дому – проверить, много ли я помню. Я вошла в спальню хозяев на первом этаже. Я хорошо понимала, где нахожусь, потому что с этой комнатой были связаны мои самые приятные воспоминания о том времени, когда мне было четыре года и мама была со мной. Иногда по утрам она брала меня к себе в кровать и читала мне сказки братьев Гримм и про волшебника из страны Оз.

Мама уже тогда подолгу лежала в постели; над ее кроватью крепился поворотный больничный столик, который можно было наклонить, чтобы положить книжку, или установить горизонтально, чтобы позавтракать. У мамы были чудесные кружевные пижамы и мягкие, шелковистые простыни. В ее кровати было очень приятно, и, скорее всего, к тому времени я уже простила ее за то, что она предпочла мне моего брата. На цветных иллюстрациях работы Максфилда Пэрриша в книжках сказок и детских стишков, которые мне читала мама, красовались принцессы, колдуны, феи, грозно размахивали мечами рыцари, воевавшие с огнедышащими драконами. Словно неясные грезы, эти картинки навевали романтические мысли и пугали одновременно. И хотя в каждой главе было только по одной цветной вклейке, экспрессивные образы затягивали меня в свой сумрачный, томный мир. Мамин голос таял, и я сама превращалась в сказку, как будто у меня в голове крутили кино.

Интересно, почему сказки, где столько всего происходит плохого и опасного, где столько смертей и разлук, живут много лет? Зачем их авторы сочиняют сюжеты, которые пугают детей? Однако, когда я погружаюсь в свое прошлое, в свою четырехлетнюю душу, мне кажется, что я, как все дети, уже тогда понимала, что в реальной жизни полно опасностей и печалей – сказки с картинками не врут на эту тему, а показывают опасности и печали реалистично, так, чтобы мы видели их, распознавали, но не умирали от них.

Примерно в конце тридцатых годов на самом краю нашего квартала поселились Хейуорды. Невероятно, но миссис Хейуорд оказалась не кем иной, как Маргарет Саллаван, первой женой моего отца, – женщиной, которая разбила ему сердце. А мистер Хейуорд, которого звали Леланд, был папиным агентом. У Хейуордов было трое детей – Брук, Бриджет и Билл. Саллаван в то время уже блистала и на сцене, и в кино, однако главной для себя считала роль матери своих детей. Список клиентов Леланда не ограничивался моим отцом, он работал чуть ли не со всеми самыми яркими звездами Голливуда – Гретой Гарбо, Джимми Стюартом, Кэри Грантом, Джуди Гарланд, Фредом Астером, Джинджер Роджерс и многими другими. Конечно, младшие Хейуорды бывали у нас, а мы – у них. Но моих родителей за все эти годы пригласили к Хейуордам на обед *лишь однажды*, и моя мама не ответила им таким же приглашением. Я интуитивно понимала, что, когда появились Хейуорды, в моем отце что-то ожило, и если уж я это заметила, то мама и подавно.

Я живо помню Маргарет Саллаван – и ее внешность, и хрипловатый голос. Но самое сильное впечатление производили на меня ее спортивность и хулиганистость. Когда у них

с папой был роман, он научил ее ходить на руках, и она до сих пор могла неожиданно перевернуться вниз головой – невзирая на то, где она находится, – и прогуляться на руках. В доме Хейуордов вечно затевались разные игры и звучал смех. Мама в те времена тоже смеялась, у нее тоже было много друзей, но она быстро уставала и совсем не отличалась ловкостью и силой. Она наряжала меня в ненавистные мне оборки и фартучки, а миссис Хейуорд и детям позволяла ходить в удобной одежде, и сама носила старые брюки с сандалиями.

Кроме этого, на мою жизнь после рождения Питера существенно повлияла надвигающаяся война. Я помню, как папа с мамой ходили дежурить – высматривали в ночном небе вражеские бомбардировщики. Это была своего рода служба патриотически настроенных граждан: “Сохраним наше небо чистым”. Гувернантка укладывала меня спать одетой и разрешала спуститься вниз, чтобы попрощаться с родителями, когда они уходили. Меня охватывал ужас. А вдруг в них попадет бомба и они не вернутся? Взрослые всячески успокаивали меня, уверяли, что в нашей стране пока нет настоящей войны и нас точно не будут бомбить, но для меня это не имело значения. Если бомб нет, что они тогда ищут в небе? Смысла в этом было ровно столько же, сколько во фразе: “Доедай, вспомни, сколько детей голодает в Китае”. В Китае дети голодают – вот и пошлите еду *им*, так ведь? Где же логика? Взрослые!

Глава 4 Тайгертейл

*Я в мире совсем одинок, но всё ж не совсем, не весьма,
чтобы каждый мне час был, как Бог...
Вольно мне быть вольным,
я Воле позволю деяньем.
стать без помех...
быть хочу среди тех, кто тайн Твоих господин,
или – один.*

Райнер Мария Рильке. “Часослов”. Книга I⁹

Году в 1940-м папа с мамой решили купить девять акров земли там, где кончалась огибавшая гору грунтовая дорога; этот поворот получил название Тайгертейл (“тигриный хвост”). На бежеватых холмах этой части горы Санта-Моника, своими изгибами напоминавшие женское тело, простирались луга, местами инкрустированные дубовыми рощицами и одинокими могучими калифорнийскими дубами. Более обрывистые склоны густо поросли толокнянкой с красными стеблями, чапарелью и шалфеем, а со дна каньонов поднимались платаны с толстыми, шишковатыми, покрытыми пестрой корой стволами – ни дать ни взять обиталища гремлинов с рисунков Максфилда Пэрриша. В наши дни такого не увидишь – сейчас вереницы холмов застроены домами, а экзотические сады с чужеродными растениями чуть ли не начисто уничтожили бежевую Калифорнию моего детства.

Мои родители выстроили дом, максимально, насколько это возможно, близкий по стилю к фермерским домам пенсильванских немцев, благо дело было в Голливуде, а мама – ну, это мама.

Вероятно, их брак был более или менее счастливым, хотя резкая перемена в образе жизни вряд ли хорошо сказалась на маме. Из самостоятельной и общительной нью-йоркской вдовы она превратилась – во всяком случае, на первых порах – в домохозяйку, жену вечно занятого знаменитого киноактера, который надолго оставлял ее одну, да и когда возвращался, был не слишком общителен.

Через несколько лет отец начал погуливать. Мама, кажется, ничего не знала, пока одна из женщин не предъявила ему иск об установлении отцовства. Мама заплатила ей за молчание собственными деньгами. “Я помню, как тяжело и тоскливо было в маминной комнате... ее разговоры с бабушкой”, – рассказывала Пан.

Среди всех прочих конфликтов в их браке тот кризис, несомненно, оказался самым тяжелым. Папа с мамой были настолько далеки друг от друга в эмоциональной сфере, что ей не хватало сил пробиться сквозь его холодность. Бабушка Сеймур не раз рассказывала нашим друзьям, как ее дочь умоляла мужа: “Хэнк, давай поговорим, объясни мне, что я сделала не так. Скажи что-нибудь, хоть слово”. Но он отмалчивался. Не думаю, что он сознательно проявлял жестокость. Возможно, это была хроническая депрессия, свойственная роду Фонда.

Потом пошли приступы гнева. Не средиземноморская их разновидность – выплеснул эмоции и отошел. Это была хладнокровная, стойкая протестантская злоба – “не желаю тебя слушать”. Мы все старались пореже попадаться папе на глаза – только Питера это будто бы и не волновало.

⁹ Перевод А. Прокопьева.

Папа часто уезжал на съемки и даже дома читал сценарии и учил роли. Часами просиживал в нашем обществе, не произнося ни слова. Упрямо молчал, словно глухонемой. Наверно, маме было одиноко, и, думаю, она, как и я, считала себя причиной его дурного настроения. Она была общительна и эмоциональна – очевидно, тем когда-то и привлекла папу. Но для него потребность в эмоциональном общении означала еще и проявление слабости. Возможно, он считал, что сильная, зрелая личность ни в ком не нуждается – разве что в партнерах для секса или работы (хотя ему дружественные отношения, похоже, не были нужны даже в профессиональной деятельности) или в ком-то, кто скрасит одиночество. Но главное – удовлетворить потребности, а люди до известной степени годятся любые.

Еще раньше, чем я успела дорасти до подшитых по тогдашней моде подолов маминых платьев, жизнь в родительском доме научила меня, что женщина должна отвечать эмоциональным и физическим потребностям мужа. Она обязана в узел завязаться, лишь бы не открыть ему, какая она на самом деле. Притворяться надо так, чтобы это выглядело естественно не только в их отношениях, а всегда – в быту, в работе, в общении с подругами, в любовных связях. Мама, подобно многим женам, так себя и вела, но, думаю, не потому, что отец от нее этого *хотел*, – просто так поступают холодные женщины, когда хотят казаться “хорошими женами”. Единственное, чего делать *не следует*, – это стремиться к близости.

Затем наступила роковая дата – 7 декабря 1941 года, – “день позора”, по словам Рузвельта. В новостях по радио сообщили о нападении на Перл-Харбор. Через восемь месяцев отец ушел на флот. Он мог бы избежать военной службы, так как в свои тридцать семь уже не подлежал призыву, к тому же имел на руках троих иждивенцев. Но он сказал маме: “Это моя страна, и я хочу быть там, где это происходит. Не хочу играть в войну на киностудии... Хочу быть не в массовке, а с настоящими моряками”. Он был искренним патриотом и ненавидел фашизм, но, по-моему, еще и воспользовался случаем уйти из дому... “подняв якоря”¹⁰. Мама не могла этого не понимать, и наверняка ее ощущение отверженности усугубилось.

Отец одним из лучших закончил курсы морских офицеров, выбрал службу в боевой воздушной разведке и на последнюю неделю, прежде чем уйти в Тихий океан, вернулся домой. На нем был эффектный офицерский мундир с медными пуговицами, знаками различия и фуражкой. Я помню тот вечер, когда он пришел попрощаться. Он тогда спел мне песенку! А когда он закончил, я тоже ему спела. Потом он обнял меня и ушел.

Меня считали бездушным и черствым, но, когда я поцеловал Джейн и вышел из ее комнаты, я остановился у ее двери, достал платок и вытер глаза. Ну не псих ли – так реагировать? Я слушал, как она поет, и вдруг подумал: не хочу покидать семью.

Я была так счастлива, когда прочла эти строки в его биографии! Мне только очень хотелось бы, чтобы он позволил себе заплакать при мне, и мы плакали бы вместе, и я убедилась бы, что ничто человеческое ему не чуждо.

В Тайгертейле я слишком часто оставалась без надзора – и это было плохо. Но это же было и хорошо: я становилась всё более самостоятельной, а жгучая, дикая природа Южной Калифорнии служила мне отрадой и утешением.

Меня по-прежнему звали Леди, но теперь я ходила в джинсах и свободных рубашках, бродила по горам и лазила по деревьям и из-за этого была вся в репейниках, занозах и клещах. Я забиралась на свой любимый дуб и глядела сверху на Тихий океан; в моей голове

¹⁰ “*Anchors Aweigh!*” – (“Поднять якоря!”) (англ.) – гимн Военно-морской академии США и одноименный фильм 1945 года.

гремели победные марши, я представляла себя полководцем, который ведет войско на гору и разбивает врага. Питер не любил приключений и не разделял моего увлечения этими играми, поэтому я придумала себе другого брата – индейца. Боже милостивый, пожалуйста, пусть Санта-Клаус подарит мне на Рождество брата-индейца, молилась я.

В те дни, когда мы не ходили в школу, после обеда нам полагался тихий час. Я никогда не уставала, поэтому не любила отдыхать. Вылеживая этот нескончаемый час, я представляла себе семью из своих пальцев. Средний палец, самый длинный, был папой, указательный – мамой, мизинец – Питером и так далее. Я мастерила им одежду из салфеток, а если мне удавалось утащить в постель карандаш, рисовала им лица. Когда мне это надоедало, я скручивала из бумажных салфеток малюсенькие шарики, как можно плотнее. Затем пыталась расправить их на кровати, так чтобы они стали как новые, без единой складочки. При этом повторяла про себя: *“Я знаю – в моих силах сделать так, чтобы стало лучше”*. Так эта фраза превратилась в мою мантру.

Моей лучшей подругой была Сью-Салли Джонс, самая спортивная девочка в школе. Мне казалось, что я никогда не сравняюсь с ней по силе и храбрости, но я надеялась хотя бы перенять ее приемы. Помню, однажды я на полном серьезе спросила Питера: “Как ты считаешь, кто лучше загонит буйвола, Сью-Салли или я?” – “Конечно, ты, сестренка”, – без колебаний ответил он.

Это же мой брат! А может, он просто испугался – как бы я его с крыши не скинула, если он скажет, что Сью-Салли.

Я помню единственный случай, когда кто-то из взрослых посадил меня к себе на колени и объяснил, как надо себя вести, и это была миссис Джонс, мама Сью-Салли. Я обозвала мальчика на детской площадке грязным словом. Я ночевала у Сью-Салли, и ее мама отвела меня в сторонку, обняла, посмотрела на меня своими голубыми глазами и сказала:

– Леди, помнишь, как ты на площадке дурно выразилась об одном мальчике? Помнишь?

– Да, миссис Джонс.

Она не кричала на меня, отчего мне стало еще хуже.

– Тебе не пристало так ругаться, и никто не должен этого говорить. Все подумают, что ты плохая девочка. А ты – хорошая. Ты меня понимаешь?

– Да, миссис Джонс.

– Обещаешь больше никогда так не делать, Леди?

– Да, миссис Джонс.

Это был уникальный эпизод в моей жизни, и, наверно, поэтому я так отчетливо его помню.

В третьем классе я решила, что сама буду распоряжаться своей жизнью, и объявила всем, что отныне меня будут звать Джейн, причем *Jane*, а не *Jaune*. В моем табеле за третий класс в графе “Характеристика” было записано:

Джейн уравновешенна, эмоциональна, уверена в себе, решительна. С ней интересно, она живо реагирует на происходящее, поэтому нравится другим детям. Джейн умеет увлекательно и красочно рассказывать о случившемся. Полагаю, у нее есть актерские способности и врожденный дар превращать заурядные вещи в нечто живое и увлекательное.

Для меня это ценное свидетельство того, что когда-то я была уверена в своих силах и решительна. Эти качества довольно быстро исчезли.

Что касается секса, мое первое знакомство с этой стороной жизни меня травмировало. У нас было два ослика, Панчо и Педро, и как-то днем я взяла их обоих – на Панчо ехала вер-

хом, а Педро вела рядом. Мне было семь лет, стояла жара, я была в шортах. Я уже добралась до дубовой рощи на вершине соседней горы, как вдруг на моих голых бедрах, обхватив их сзади, сомкнулись два копыта – как я потом поняла, Педро решил овладеть Панчо, на котором сидела я! Ослы отчаянно брыкались и лягались, копыта впивались сзади в мои ноги. Я, естественно, свалилась на спину и обнаружила прямо у себя перед глазами... оно было фута два-три длиной, почти касалось земли, омерзительное, с какими-то струпами.

Я поняла, что это как-то связано с сексом; не знаю, с чего я это взяла, – просто поняла. Я уставилась на живот Панчо. Я впервые оказалась в таком положении, что Панчо был почти на мне. Снизу Панчо выглядел совсем не как Педро. И тут до меня дошло: Панчо – это не Панчо, а Панчита! Девочка! У нас она появилась с этим мальчишеским именем, и никто не надоумил меня проверить. Видите, что бывает, когда детям ничего не объясняют про жизнь? Не уверена, что я полностью оправилась от того потрясения. Шокированная, перепуганная, вся в синяках, я встала, увидела кровь на своих ногах – там, где Педро лягал меня, – и, хромя, поплелась домой. На этот раз я вела их обоих, то и дело оборачиваясь – не случится ли еще какого-нибудь непотребства.

Это был период в моей жизни, передо мной впервые встали вопросы секса – в переносном и, как ни печально, в прямом смысле. Однажды, вскоре после инцидента с ослами, я играла с ребятами в мяч на площадке у школы. Там был мальчик, который страшно мне нравился, и вот я заметила, что он всё время бросает мяч одной и той же девочке, а мне – никогда. Затем я услышала, как он ей сказал: “Я хочу тебя трахнуть”. Сердце мое бешено забилося. Я не поняла смысла этих слов, но чувствовала, что раз это говорят ей, а не мне, мои шансы – нулевые.

В тот день, вернувшись домой, я пошла к маме в комнату и спросила: “Мам, что значит «хочу тебя трахнуть»?” Не уверена, что именно так всё это было, но одно помню отчетливо – как она “поплыла”, словно при замедленной съемке. Открыла рот, попыталась что-то выдать из себя. Но вряд ли она действительно заговорила. Могла произнести что-нибудь вроде: “Не сейчас, Леди”. Или: “Спроси у сестры”. Знаю только, что вышла из маминой комнаты такой же невеждой, как была, и даже в еще большем недоумении по поводу того, что же означают эти слова. Я пошла к Пан. Она с виду совсем не удивилась, а пустилась в пространные объяснения с порнографическими подробностями, кто что куда сует, с пояснениями вроде “а потом мальчик делает пи-пи”, и дальше вплоть до того, как рождается ребенок. А я представила себе тот предмет, который свисал у Педро с живота тогда на горе, попыталась увязать эту картину с “пи-пи” и с собственными половыми органами... и ужаснулась. Мне пришлось еще долго сидеть у себя в комнате и глубоко дышать, чтобы очухаться после этого кошмарного, но приятно возбуждающего открытия. У меня в памяти не сохранились все события того года, но я слово в слово помню всё, что сказала в тот день Пан.

Через несколько дней наша гувернантка принесла книжку про то, откуда берутся дети. На иллюстрациях были изображены фаллопиевы трубы, матка и пенис. Моя мать, как и многие отцы и матери даже в наши дни, весьма смутно представляла себе уровень моего развития и мои переживания и решила, что если я употребила слово “трахнуть”, то мне будет интересно узнать всё о законах механики. А мне всего-то и нужно было от нее, чтобы она села рядышком, обняла меня и спросила, где я это услышала. Тогда она поняла бы, что надо рассказать мне не о механике, а о чувствах, что я ревную, страдаю и боюсь, что ни один мальчик не захочет “трахнуть” такую дурнушку, как я. Мне могли бы помочь ее сочувствие и объятия в нужный момент. А потом она могла бы сказать: “Может, он сам не знает, что это такое. Может, услышал это слово от какого-то дядьки и решил, что оно «взрослое». Это вовсе не означает, что он любит ту девочку, а ты ему не нравишься. Просто настал такой период, когда ты начинаешь испытывать новые чувства – при виде мальчика или девочки, которые тебе очень нравятся, у тебя внутри всё переворачивается. Так ведь?” Мне было бы уже не

страшно, и я ответила бы: “Да, рядом с *этим* мальчиком я так себя и чувствую, поэтому мне и стало так плохо, когда он сказал это другой девочке”. И мы могли бы поговорить о моих ощущениях, о том, что они естественны и прекрасны, — о том, что я взрослею.

Но хотя для кого-то моя мать была человеком, “к которому можно обратиться с любыми вопросами”, я видела другую женщину. При таком сценарии я смогла бы прийти к ней в следующем году, когда начали происходить вещи *по-настоящему* страшные. А так я больше никогда не заговаривала с ней о чувствах.

Няни у нас менялись, наверно, каждые несколько месяцев, но в вопросах чувств и половых отношений от них совершенно не было толку. Одна, наоборот, была чрезвычайно религиозна. Каждое утро она являлась ко мне в комнату, пока я не успела встать, и принималась к моим пальцам, чтобы проверить, не держу ли я руки “там”. Она ясно дала мне понять, что самоудовлетворение — это смертный грех.

Следующая няня, молодая и симпатичная, имела бойфренда, который служил в армии. Как-то днем, когда он приехал в отпуск, она впустила его в ванную, где я купалась. Она велела мне вылезать, я вышла, и она развернула меня на сто восемьдесят градусов. Я испугалась. Но больше я ничего не помню. Не знаю, приставал ли он ко мне, но что-то нехорошее, видимо, тогда произошло, потому что именно с тех пор мои реакции изменились, я начала воображать, будто наблюдаю за оргией или сама участвую в бурных, порой агрессивных порнографических действиях. Тогда же я начала испытывать сильную тревогу при виде публичных проявлений сексуальности — например, когда люди обнимались в кино или целовались на пляже. Я попросила одну девочку снять трусы и показать мне, откуда она писает, и нас застали на месте преступления. Меня отвели в кабинет директора для “серьезного разговора”. Как раз в то время я произнесла то грязное слово, а мама завела роман с Джо Уэйдом. Я упоминаю эти факты, потому что на протяжении большей части моей жизни вопросы пола и сексуальности были для меня — как и для многих девочек и женщин — источником проблем и тревог. Вот почему теперь я стараюсь помочь девочкам и мальчикам справиться с этим.

6 августа 1945 года Соединенные Штаты сбросили на Хиросиму атомную бомбу. В тот же день, когда Япония капитулировала, папа получил приказ вернуться в Штаты и впоследствии был награжден Бронзовой звездой. Подобно многим мужчинам, он вернулся с войны совершенно другим человеком. Там, не обремененный семейными заботами, он вел мужскую жизнь с боевыми товарищами. Думаю, ему нравилось чувство долга, мужская дружба, нравилось побеждать не на экране, а в реальности.

Я чувствовала, что после возвращения папу уже не тянуло к маме. Однако она, кажется, этого вовсе не сознавала и по-прежнему ходила при нем обнаженной. Я хотела, чтобы она оделась. Она что, не понимает? Вероятно, она всё еще была красива, но я смотрела на нее папиными осуждающими глазами — ох, как я ненавижу себя за предательство по отношению к ней! В подростковом возрасте я ловила на себе папин оценивающий неодобрительный взгляд. В том, что папа всё больше отдаляется от мамы, я винила ее. Чтобы он ее любил, ей следовало вести себя иначе. А я сделала для себя вывод, что, если женщина далека от идеала и не очень осторожна, она не может чувствовать себя в безопасности. *Хочешь выжить — держи сторону мужчины*. Иди слушать с ним джаз, подлей ему виски, даже женщину приведи, если он захочет, и привыкни к мысли, что это возбуждает. Хочешь, чтобы он тебя любил, — превзойди идеал. И не разгуливай нагишом.

Одно из грустных воспоминаний о тех послевоенных днях: как-то раз после обеда мне захотелось посидеть с книжкой возле папы. Папа, как и его отец, обожал читать и часами просиживал с книгой в большом мягком кресле. За те годы, пока его не было, я неплохо

поднаторела в этом занятии и подумала, что чтение может стать нашим общим хобби, не требующим разговоров. Я взяла “Черного красавчика” и уселась в кресло напротив папы. Он не обратил на меня внимания, но, дойдя до смешного эпизода, я нарочно громко рассмеялась в расчете услышать его вопрос, что же меня так развеселило. Однако он не поднял головы и ничего не сказал. Как будто меня там вообще не было. Я знала, что он любил меня, когда я была маленькой, но теперь, в девять лет, не могла с уверенностью этого утверждать.

В 1947 году папа уехал в Нью-Йорк на репетиции бродвейской пьесы “Мистер Робертс”, которую ставил Джошуа Логан, а продюсировал Леланд Хейуорд, отец Брук. Вскоре после этого Брук сказала мне, что ее родители разводятся. Это напугало меня больше, чем любая другая новость до тех пор. Если такое возможно в семье, где все всегда смеялись и радовались, что ж тогда... Нет, даже думать об этом страшно.

Так начался десятый год моей жизни. К тому времени, когда мы достигли его нижней точки, к концу моего первого десятка, мы уже жили в Коннектикуте, в Гринвиче, – и с этого момента началась совсем другая жизнь, отличная от той, к которой я привыкла.

Глава 5

Куда мне идти?

Я проводила исследования в начальных, средних и старших классах школы, и иногда мы, в знак благодарности, угощали детей пиццей. На вопрос, какую пиццу они предпочитают, десятилетки отвечали: “Побольше сыра и салями”; “Не знаем”, – говорили девочки тринадцати лет, а пятнадцатилетние – что им всё равно.

Кэтрин Штайнер-Адер, доктор педагогических наук. “Уверенность в себе: укрепление силы, здоровья и лидерских качеств у девочек”

За кулисами погруженного в полумрак театра, где мы ждали папу, суетились люди; папа играл главную роль в спектакле “Мистер Робертс”. Мы – мама, Питер и я – только что, вечером, в начале июня 1948 года, прилетели в Нью-Йорк и сразу поехали в театр “Элвин”.

Мы с Питером стояли рядом с помощником режиссера и ждали, когда объявят антракт, папа освободится и подойдет к нам. Я выглядывала из-за занавеса: что это – сцена или кусочек рая? Всё происходило так близко и вместе с тем где-то вдали, сцену заливал свет, потоки электроэнергии с потрескиванием перетекали от невидимой аудитории к папе, облаченному в лейтенантский мундир, и обратно. Но это не был мой “папа”. Это был веселый, словоохотливый мистер Робертс. Казалось, даже серый свинец декораций, настил палубы, зенитные орудия и башенки эсминца светились изнутри. Неудивительно, что он сбежал от нас сюда, – здесь, в эпицентре урагана любви и смеха, он был живее самой жизни.

Вдруг раздался гром аплодисментов. За кулисами забежали люди, и прежде чем я что-либо поняла, папа был уже рядом, обнимал меня, и сквозь его мундир я ощутила вынесенную им со сцены энергию вперемешку с густым мускусным ароматом. Я хотела остаться там навсегда. Но они с мамой сказали, что уже поздно и пора спать. Поэтому мы еще раз обнялись, а потом еще тридцать пять минут ехали в Гринвич – город в штате Коннектикут, где нам предстояло поселиться.

Питер ходил злой из-за того, что пришлось уехать из Тайгертейла, раздражение буквально сочилось из каждой его поры. А для меня, хоть я и понимала, что никогда уже мне не ходить в лосинах и не скакать вместе с Сью-Салли на неоседланной лошади, это было приключение – по крайней мере поначалу. Кроме того, я со свойственной мне практичностью привыкла с энтузиазмом воспринимать неизбежное. Что мне оставалось – умолять маму Сью-Салли удочерить меня? Нет уж, для меня важнее всего по-прежнему был контакт с папой, пусть иногда слабый, и я не собиралась проверять его на прочность. Меня всегда удивляла готовность Питера подвергать испытаниям всё на свете. Откуда у него такая уверенность, что связи не ослабнут и не порвутся?

В первое утро я проснулась поздно; когда я соскочила с кровати и распахнула окно, солнце стояло уже высоко в небе. Внизу, сколько хватало глаз, простирался яблоневый сад. С другой стороны было нечто вроде джунглей. Производители моего набора цветных карандашей явно не предусмотрели столь изумительной палитры зелени; и всё это оказалось прямо у меня перед носом. Одевшись в одно мгновение, я скатилась с лестницы и выбежала из дому. Звук захлопнувшейся за моей спиной двери заставил меня с удивлением оглянуться – я впервые видела дверь с москитной сеткой, в Калифорнии комаров не было. Непривычно ощущался и плотный воздух, от высокой влажности кожа моя покрылась испариной раньше, чем у меня появилась причина вспотеть. Пожалуй, на новом месте будет здорово!

Участок вокруг дома казался огромным, вероятно, из-за того, что не был огорожен забором. С трех сторон нас окружали лиственный лес и болото. К концу дня я исследовала

влажный, с виду бескрайний лес. Вдоль фасадной стороны сад отделяла от дороги старая небеленая, сложенная из замшелых камней стена. Местами из густой зеленой травы выступали гранитные валуны. Таких камней я никогда не видела. У нас в калифорнийских горах валуны были из песчаника – тоже очень живописные, словно стадо сбившихся в кучу слонов, – но в них не поблескивали зерна слюды и кварцевые прожилки, не была отпечатана летопись Земли, как в гринвичских камнях. Тем летом я влюбилась в скалы. Я и сейчас с восторгом люблю старинную коннектикутской каменной кладкой.

В то первое лето в Гринвиче я неожиданно сроднилась с новой средой обитания, и тогда как напряжение в отношениях между моими родителями ощущалось всё явственнее, природа словно залечивала раны – многочисленные вследствие разнообразных участившихся болезней и переломов. Тогда же я начала грызть ногти, до крови обдирая кожу. Мама заставляла меня спать в хлопчатобумажных перчатках. Мазала мне пальцы горькими снадобьями. Подзуживала соседей, и те пугали меня, что проглоченные ногти слипнутся у меня в животе в комок, и я заболею, как кошка, которая наглotalась шерсти. Но ничто не могло избавить меня от дурной привычки, так как ни слова не было сказано о том, *почему* я грызу ногти. По той же причине я стала много болеть.

Однажды я повстречала на узкой сельской дороге, на которой не было даже обочин, высокую худую девочку с веснушками и коротко стриженными темными волосами. Диану Данн. Довольно скоро мы выяснили, что обе страстно любим лошадей и осенью будем учиться в одном классе гринвичской Академии для девочек.

Она привела меня в конноспортивный клуб “Раунд Хилл Стейблз”. Там я научилась брать препятствия на лошади, там-то Тедди, который работал на конюшне, и сломал мне руку в состязании по армрестлингу. Еще один мальчик повадился тем летом ходить к нам играть со мной. Он, Тедди, Диана и я бродили, будто свора уткнувших носы в землю бездомных псов – что-то вынюхивали, выискивали, гоняли по округе, боролись друг с другом. Все знали, что меня зовут Джейн, и, стало быть, я девочка, но по другим признакам меня с трудом можно было отличить от мальчишки. Вряд ли маме так уж нравилось, что я водилась с сыновьями садовников и конюхов, но она постепенно погружалась в болезненную депрессию, и я вольна была сама выбирать себе компанию.

У Дианы была собственная лошадь черно-белой масти по имени Пай. Ее мама, высокая стройная женщина, также большая любительница верховой езды, все четыре года, что мы прожили в Гринвиче, была очень добра ко мне. Очевидно, кто-то – возможно, моя мама – попросил Даннов приютить меня во время ее становившихся всё более длительными отлучек, потому что я проводила с ними очень много времени. Осенью первого нашего года в Гринвиче папа объявил маме, что хочет развестись, а потом она начала где-то пропадать – как я теперь знаю, в “Остен Риггз Сентер”. Тогда-то бабушка и приехала из Калифорнии, чтобы заботиться о нас и вести хозяйство.

Данный заполнили вакуум, образовавшийся после расставания с Сью-Салли и ее мамой. Сью-Салли ассоциировалась у меня с ковбоями, индейцами, кожаной одеждой, а Диана – с лисьей охотой, канареечно-желтыми бриджами, сапогами из лакированной кожи и твердыми бархатными кепи.

В новой школе появился шанс показать себя с другой стороны, что было неплохо. Как-то раз в аудитории для самостоятельных занятий я чем-то рассмешила одноклассников. Чем – не помню, но помню, как приятно было увидеть, что я могу кого-то развеселить. Я выбрала себе имидж клоуна и фигляра.

В ту первую осень я сделала удивительное открытие – листва бывает ярко-оранжевой и красной. Кроме того, Диана Данн уговорила меня поучаствовать в охоте на лис. Не помню случая, чтобы мне не было страшно на охоте. Боязно было прыгать, до смерти страшно

резко поворачивать на полном ходу – ведь лошадь могла поскользнуться на мокрой земле и завалиться на меня. Я боялась всегда, но понимала, что характер проявляется в смелости, и делала вид, что не трушу. Никто, особенно Диана, ни о чем не догадывался. Для девчонки хуже нет чего-либо бояться. Боишься – значит, ты неженка.

Потом пришла зима. Я видела снег и раньше, но никогда не имела с ним дела – не прокапывала дорогу к машине, чтобы поехать в школу, не каталась во дворе на санках. Меня бесило, что Питер мог вытащить свой членник и расписаться на снегу, и я тоже попробовала, сняв трусы и как можно быстрее бегая с раздвинутыми ногами, вычертить струйкой свое имя. Надо ли говорить, что мои “каракули” не поддавались расшифровке и я жутко замерзла?

На первое гринвичское Рождество папа подарил мне индейский костюм из телячьей кожи с мокасинами, расшитыми бусинами, и шиньоном, который я прикалывала к волосам, так что “волосы” торчали в точности как у индейца племени мохоки. С момента нашего отъезда из Калифорнии прошло всего полгода, я всё еще заплетала длинные светлые косы, Одинокый рейнджер по-прежнему был моим кумиром, поэтому лучшего подарка папа придумать не мог. Я немедленно облачилась в свой костюм, и папа снял меня на домашнюю кинокамеру. Я тихо-тихо выбралась из густого подлеска, проворно взбежала на холмик, там остановилась и, приложив руку ко лбу, как индеец на разведке, стала вглядываться вдаль, не показался ли на горизонте враг. Папа даже снял крупным планом мое лицо – как я медленно поворачиваю голову справа налево, прежде чем так же тихо снова скрыться в зарослях; это был мой дебют в игровом кино. Теперь, просматривая эту видеозапись, я вспоминаю, что с того времени возненавидела свою внешность, в особенности круглое, щекастое лицо. Мне казалось, что я похожа на бурундука, у которого за каждой щекой по ореху.

Съемка с папой в тот рождественский день положила конец моим ковбойским и индейским фантазиям. Больше я никогда не наряжалась индейцем. Я вошла в тот период, когда для девочки-подростка превыше всего – общественное признание. Вскоре после этого я отрезала свои прекрасные косы, чтобы не чувствовать себя деревенщиной: никто в школе не заплетал косички. Не помню, кто меня подстриг, мама или парикмахер, но выглядело это ужасно. Мои непослушные, будто хвост у мула, волосы подровняли по прямой чуть ниже ушей – ни стиля, ни формы, а челка топорщилась, словно наэлектризованная. Согласитесь, в этом возрасте прическа – чуть ли не главное в жизни. Девочки с хорошими волосами всегда пользуются большей популярностью. Я во всех смыслах была “дурнушкой Джейн”, клоуном с нелепой прической.

Иногда по вечерам я гуляла вдоль дороги, заглядывала в окна домов, смотрела на собравшихся за семейным столом людей. Поразительно, насколько наш дом отличался от других. Позже я обзавелась друзьями, стала бывать у них в гостях и, словно марсианка, наблюдала за тем, как их родители, гости, другие дети общались во время обеда. Для меня было внове уже то, что кого-то интересовало мое мнение. Оживленные разговоры и споры открыли мне целый мир разнообразных идей, который существовал за пределами крошечного осколка реальности – десяти лет моей жизни.

В Гринвиче я дважды застала выборы – когда Трумэн победил Томаса Дьюи и когда Эдлай Стивенсон проиграл Эйзенхауэру. Я хорошо помню споры на тему выборов во время обедов в “республиканских” семьях моих друзей. Мой папа, “паршивый демократ” (он скорее проголосовал бы за шелудивого пса, чем за республиканца), упорно отстаивал свои политические взгляды, но с нами, детьми, о политике говорил редко. Примерно в эти годы в отношениях между папой и его старыми друзьями Джоном Фордом и Джоном Уэйном, а также с его лучшим другом Джимми Стюартом наметился разрыв – впрочем, со Стюартом они потом снова сблизились.

Брешь в их дружбе пробили сенатор Джо Маккарти и Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности (HUAC). Термин “маккартизм” стал синонимом голослов-

ной клеветы и запугивания законопослушных американцев. Им объявили, что все организации, которые хоть в малейшей степени поддерживали Рузвельта и его “Новый курс”, ведут подрывную деятельность. Тысячи невинных людей, всего-то присоединившихся к какой-нибудь либеральной организации, подверглись уголовному преследованию. Маккарти и *HUAC*, членом которой был и молодой конгрессмен из Калифорнии Ричард Никсон, считали вредительским всякое инакомыслие. Папа называл это “охотой на красных ведьм” и один раз даже врезал телевизору, когда показывали заседание *HUAC*. Меня всегда занимал вопрос, почему папа так и не присоединился к Хамфри Богарту, Лорен Бэколл, Джону Хастону, Люсиль Болл, Джону Гарфилду и Дэнни Каю, которые специально ездили в Вашингтон на слушания *HUAC* и дали там пресс-конференцию в поддержку так называемой голливудской десятки – продюсеров и режиссеров, которые якобы придерживались коммунистических взглядов. Кое-кто в Голливуде – например Рональд Рейган (тогда президент Гильдии киноактеров, с 1946 года – осведомитель ФБР), Гэри Купер, Джордж Мёрфи, Уолт Дисней и Роберт Тейлор – сотрудничали с Комиссией и согласились назвать имена тех, кто, по их мнению, был коммунистом. “Лояльные” выступления заранее включили в регламент, а “нелояльным” свидетелям выступить не позволили, и их адвокаты не были допущены к прениям. Джимми Стюарт и Джон Уэйн не давали показаний, но были убежденными сторонниками Маккарти. Тогда я не понимала, что к чему, знала только, что многие в Голливуде потеряли работу из-за того, что крупные студии расторгли контракты с “десяткой” и отказались иметь дело с членами этой группы, пока те публично не отрекутся от коммунистической идеологии. Так, врагом объявили Чарли Чаплина, и вплоть до 1972 года, когда Американская академия кинематографических искусств и наук присудила ему премию, он не мог вернуться в США. Я присутствовала на той церемонии вручения премии “Оскар”, стояла рядом с ним на сцене. Я и подумать тогда не могла, что почти через двадцать лет меня вызовут на заседание новейшей Комиссии такого рода и что в возрасте сорока четырех лет я выйду замуж за человека, отец которого убедил его в причастности Рузвельта с его “Новым курсом” к коммунизму.

Осенью 1948 года судьба, словно нарочно, опять свела нас с Брук, Бриджет и Биллом Хейуордами. Мы, дети с обеих сторон, пришли в восторг от того, что наши семьи, пусть и несколько в ином составе, снова встретились – вдали от Калифорнии, на другом конце страны – и снова будем вместе учиться в школе: Билл с Питером в Брунсуике, а я с Брук и Бриджет – в Гринвичской академии.

В Гринвиче я впервые услышала слово “черномазый”. Однажды, когда мы с папой ехали на машине – он за рулем, я на заднем сиденье, – я произнесла это слово. Папа остановил машину, повернулся ко мне, шлепнул (легонько) меня по губам и сказал: “Никогда этого не говори!” Можете быть уверены – больше я так не говорила. Это был единственный раз, когда папа меня ударил.

Я много думала о своем интересе к людям – неважно, знамениты они или нет, каких добились успехов и к какой расе принадлежат. Боюсь, причина кроется в отцовских фильмах. Сам папа не любил рассуждать о расах и классах, хотя его киногерои – Авраам Линкольн, Том Джоуд (основатель коммуны оки¹¹ в “Гроздьях гнева”), отец из фильма “Случай в Окс-Боу”, возмущенный линчеванием мексиканца, Кларенс Дарроу, мистер Робертс – вызывали у него уважение. Я как-то спросила Иоланду, дочь Мартина Лютера Кинга, часто ли отец беседовал с ней, когда она была маленькой, о жизни, жизненных ценностях и духовности.

– Нет, – ответила она. – Никогда.

– И мой никогда, – сказала я, – но они учили нас на своих фильмах и проповедях, так ведь?

¹¹ Оки – так в Калифорнии в годы Великой депрессии называли фермеров-переселенцев из штата Оклахома.

В частности, в школе болтали, будто у моего папы есть девушка, прямо “персик”. Я спросила у подруги, что значит “персик”, и она объяснила мне, что так называют очень соблазнительных молодых красоток. Я почувствовала отвращение. Но, как и мама, не позволила себе разозлиться на папу.

В седьмом-восьмом классах я увлеклась музыкой из бродвейских шоу. Мы с Брук выучили слова всех песен из самых популярных мюзиклов “Юг Тихого океана” и “Король и я”. Мне и в голову не пришло, что двадцатидесятилетняя подруга моего папы – падчерица Оскара Хаммерстайна, автора слов к моим любимым песенкам.

Около нижней точки моего одиннадцатого года лейтмотивом жизни стали чувственность и волнения из-за мальчиков. Если мальчик был мне симпатичен, я с ним дралась. О Тедди, мальчике с конюшни, который сломал мне руку, я уже писала. Но не упомянула о том, что он был очень привлекательным блондином, и за несколько недель до нашего поединка я влепила ему мячом, да так, что он побледнел и чуть не потерял сознание. Мне это казалось самым правильным способом флирта.

По моему глубокому убеждению, мне надо было бы родиться мальчиком и жить полноценной жизнью, да во мне и было столько мальчишеского, что меня вечно спрашивали, мальчик я или девочка. Более лестного комплимента я себе не представляла. Наверно, просто в детстве я хотела максимально откреститься от всего девчачьего. Для меня нормально было вести себя как сорванец, а как быть девочкой, я не знала – разве что в своих буйных фантазиях.

Помню, однажды в школе мне стало плохо, меня отвели в медпункт и велели полежать, пока кто-нибудь за мной не придет. Я лежала, глядела вверх и увидела на полке у себя над головой брошюру, которая называлась “Мастурбация”. Видимо, не так уж мне было дурно, потому что я, не теряя времени, стащила ее и до возвращения медсестры быстро прочла всё, что успела. Там говорилось, что от мастурбации появляются угри и портится психика. Готова поспорить: эту брошюру специально поставили на видное место для таких девочек, как я. Прочитанное, конечно же, произвело на меня куда более сильное впечатление, чем гувернантка, которая обнюхивала мои пальцы. Сейчас я уверена, что взрослые, которые заставляют детей чувствовать себя виноватыми в их естественных, здоровых ощущениях, совершают преступление. Возможно, они делают это потому, что их самих в детстве мучили родители и учителя, и теперь они отыгрываются на следующем поколении!

Когда я училась в седьмом классе, мы переехали в дом с привидениями, расположенный на горе, с видом на Мерритт-паркуэй, – вот там я и построила свой картонный домик, а мама начала коллекционировать бабочек.

Вскоре мои метания закончились. Образ Одинокого рейнджера устарел. Я наблюдала за тем, как кокетничали некоторые мои подруги, и чувствовала, что по сравнению с ними мне чего-то не хватает. Я относилась к жизни чрезвычайно серьезно (как папа), и мне казалось, что если уж флиртовать, то надо быть готовой на всё по полной программе. Услышать обвинение в том, что ты “динамишь”, – хуже, чем “быть готовой на всё”. Начала – будь добра довести дело до конца, это вроде как всё доесть.

В июне 1950 года, через два месяца после маминой смерти, нас с Брук и еще одной подругой, Сьюзен Тербелл, отправили в Нью-Гемпшир, в летний лагерь. Для меня это было трудное лето. Внешне по мне было незаметно, что мамина смерть повлияла на меня, но Брук рассказывала, как я вскакивала среди ночи и что-то кричала про маму; “Кричала так, что все сбегались ее успокаивать”, – написала Брук в мемуарах.

По лагерю гулял грипп, и я заболела. Но помимо этого что-то стряслось с моей половой сферой – и менструации были ни при чем. Я провела в изоляторе немало времени с различ-

ными недомоганиями, но страшно боялась – или стеснялась – попросить медсестру посмотреть, что со мной случилось. Меня донимали боль и зуд, но я никому ничего не сказала. Я решила, что у меня неправильные половые органы, что, когда Господь распределял их, мне достались с дефектом. Тревога не отпускала меня еще много лет. Это один из вопросов, с которыми я не обратилась к маме.

Мама наложила на себя руки за десять месяцев до окончания строительства нового дома, которое она затеяла. Был апрель, и думаю, она не могла ждать. Не помог и тот факт, что в апреле у нее был день рождения. Доктор Сьюзен Блюменталь напомнила мне строку из поэмы Томаса Элиота: “Апрель, беспощадный месяц...”¹² Она сказала, что в апреле происходит больше самоубийств, чем в любом другом месяце, на втором месте – октябрь. “Приходит весна, меняется погода, вроде бы с концом зимы появляется надежда, но это и время перемен”.

Как объяснила доктор Блюменталь, весенний и осенний пики самоубийств связаны со сменой времен года, нарушениями режима сна и пробуждения, а также (или) с изменением суточного биологического ритма, то есть хода биологических часов, и всё это может влиять на настроение и поведение. “Некоторые ученые полагают, что такие сезонные перемены в сочетании с изменением режима сна и/или суточного биологического ритма, а также функции нейромедиаторов мозга у людей с биполярными расстройствами способны запустить циклические процессы, от депрессии к маниакальной стадии и обратно. Казалось бы, после долгой зимней мрачности тонус должен повышаться, но на самом деле человек может перевозбудиться и в одну из этих фаз выработать столько энергии, что у него появляются мысли о самоубийстве – и он может это сделать. Кроме того, если защитных факторов не хватает, больного могут подтолкнуть к этому шагу какие-то обстоятельства, которые угнетают его или унижают его достоинство”, – сказала она.

Но тогда я еще не знала, что мама покончила с собой. Это выяснилось осенью в аудитории для самостоятельных занятий, когда кто-то из одноклассников показал мне статью про моего папу в глянцевого журнале. Я начала читать и дошла до такой фразы: “Его жена, Френсис Фонда, перерезала себе горло опасной бритвой в психоневрологической клинике”. Я сразу поняла, что это – чистая правда, а про сердечный приступ мне наврали.

Потом был урок рисования. Мы расписывали черные оловянные подносы – мой украшали белый дерен и две желтые бабочки. Рядом со мной сидела Брук, я дала ей знак пригнуться над партой и прошептала:

– Брук, моя мама правда покончила с собой?

– Ну... я... о боже, Джейн... я не знаю... я... – замялась она, стараясь уйти от ответа. Позже в своих мемуарах она написала, что, когда моя мать умерла, «мисс Кэмпбелл собрала всех учениц Гринвичской академии и объяснила, что следует придерживаться этой версии [что Френсис Фонда умерла от сердечного приступа]».

В тот день, как только закончились уроки, я побежала домой, напрямик в комнату мисс Уоллес. Это была наша гувернантка, ее взяли после маминой смерти помогать бабушке присматривать за нами. Миссис Уоллес была красивой, доброй женщиной с мягким седым пучком на затылке.

– Миссис Уоллес, – выпалила я, – моя мама покончила с собой?

Если мой вопрос удивил ее, она не подала виду. Она посадила меня к себе на колени и мягко сказала:

– Да, Джейн. Очень жаль, что именно мне пришлось сообщить тебе об этом.

¹² Элиот Т. С. Бесплодная земля. Перевод А. Сергеева.

– А правда, что она перерезала себе горло бритвой?

Миссис Уоллес секунду поколебалась. Очевидно, в этот момент она решилась открыть мне правду настолько, насколько двенадцатилетний ребенок способен ее усвоить.

– Да. За несколько месяцев ей удалось убедить докторов в клинике, что ей лучше. Они написали твоим отцу и бабушке, что, по-видимому, она “больше не считает себя безнадежной неудачницей”. Так они выразились... “безнадежная неудачница”. Врачи надеялись, что очень скоро она сможет вернуться домой, поэтому ослабили контроль за ней, вот так она и сделала это. Перед смертью она написала записки каждому из вас.

– А Питер знает?

– Нет, и я думаю, что лучше пока ему ничего не говорить. Он такой ранимый.

– А можно я посмотрю, что она написала мне?

– Твоя бабушка сказала, что у нее уже нет этих записок. Извини.

Всё это заставило меня крепко задуматься.

Я не разозлилась, но очень хотела бы прочесть адресованную мне записку. Может, она рассердилась, что я не захотела ее видеть, когда она в последний раз приехала домой? Может, если бы я повидалась с ней и сказала бы ей что-нибудь очень доброе, она передумала бы. Может, она знала, что я не люблю ее, и поэтому убила себя. Но любила ли я ее? Я не смогла ответить на этот вопрос, потому что часть моей души окоченела.

Несколько месяцев спустя, в декабре 1950 года, папа женился на той самой девушке-“персике”, с которой у него был роман, Сьюзен Бланчард, падчерице Оскара Хаммерстайна. На свой медовый месяц они улетели на Виргинские острова.

Как-то вечером, когда я гостила у Дианы Данн, зазвонил телефон. Миссис Данн взяла трубку, и по мере того как она слушала, лицо ее сначала застыло, затем она охнула, понизив голос на две октавы, будто слышала что-то плохое. Она взглянула на меня, отвела глаза и прикрыла рукой микрофон.

– Джейн, с твоим братом случилась беда. Он выстрелил в себя, и сейчас он в больнице, в Оссининге. Бабушка просит, чтобы я немедленно тебя привезла.

Питер выстрелил в себя.

Мне снова стало казаться, что я покинула свое тело.

Больница находилась рядом с тюрьмой Синг-Синг. Когда я добралась туда, бабушка объяснила, что Питеру почти уже констатировали смерть, но тут, по счастью, в больницу вернулся с охоты тюремный врач, главный специалист по колотым ранам и пулевым ранениям. Он обнаружил, что сердце Питера хоть и слабо, но бьется и поспешил остановить кровотечение. Пуля попала в живот, прошла в грудную клетку, пробила желудок и почку и застряла прямо под кожей близко к позвоночнику. Мы с бабушкой сидели в больничном холле. Спустя какое-то время доктор вышел из операционной и вызвал бабушку в коридор. Я слышала его слова о том, что, как он ни старался, сердце Питера остановилось, и хотя его удалось снова запустить, трудно сказать, справится ли Питер. Тогда я впервые всерьез помолилась. “Боже, дорогой, если ты оставишь его в живых, я больше никогда не буду обижать его. Аминь”, – сказала я.

Папа прервал свой медовый месяц, умудрился найти самолет, который вывез его с острова – непростая была задача по тем временам, – и уже через несколько часов явился в больницу, где мы все втроем остались на ночное дежурство. Затем мы поехали домой немного поспать и на следующий день вернулись в клинику. И так еще пять дней. Один раз меня пустили к Питеру в палату, и я смотрела на него – он лежал такой маленький, едва заметный холмик под простынями, из которого во все стороны торчали трубки. На пятый день врачи сказали, что, судя по всему, Питер выкарабкается из кризиса. Еще через несколько дней нам сообщили, что его состояние стабильное. Он должен был справиться.

Я вернулась в школу, выполняла все рутинные обязанности, делала уроки. Но тело мое оставалось в напряжении, дыхание было неглубоким. Казалось бы, безо всякого повода. “Какая удивительная девочка! – говорили учителя. – Чем тяжелее испытания, тем она становится сильнее”. Compliments, которые я получала за выносливость, требовали подтверждения и обязывали меня, сильную Джейн, к определенному стилю поведения. Оболочка, сформировавшаяся вокруг моей души, помогала мне удержаться на ногах и тем самым способствовала достижению цели, но и подогревала мое чувство превосходства и независимости.

Питер лежал в больнице месяц. Он почти сразу начал капризничать, и я потихоньку стала нарушать свое обещание, данное Господу.

Несчастный случай произошел, когда Питер гостил у друзей, один из которых уговорил семейного шофера отвезти их на стрельбище рядом с тюрьмой Синг-Синг, где они хотели поупражняться в стрельбе из старинного пистолета 22 калибра. Питер перезаряжал пистолет и нечаянно выстрелил себе в живот. К счастью, шофер знал, где находится больница, и постарался как можно скорее доставить его туда. Не могу удержаться от вопроса, не сработало ли в сложившихся обстоятельствах подсознание страдающего мальчика, который разозлился на отца за то, что тот снова женился, и на всех остальных, кто, как ему казалось, слишком быстро забыл его маму.

Со времени маминой болезни и смерти минуло около двух лет. На следующий год мои одноклассники начали устраивать домашние вечеринки без родителей, как правило, с игрой в бутылочку и поцелуйчиками. Я хотела быть в тренде и старалась подстраиваться, но эти игрища наводили на меня ужас, хотя Брук и другие девочки чувствовали и вели себя уверенно. Не помню, чего я боялась больше – что кто-нибудь “выберет” меня и попробует “зайти слишком далеко” или что я никому не понравлюсь. Тогда как другие девочки становились всё более женственными, я превращалась непонятно в кого – сгусток андрогинности, вечно в хвосте и отчаянно стараюсь выкарабкаться. Что случилось с девочкой, про которую в третьем классе писали “уравновешенная”, “уверена в себе”, “решительная”, – с девочкой, которая считала себя героем? Ускользнула куда-то незаметно, я даже не сказала ей на прощанье: “Пока, увидимся через полвека”.

Глава 6 Сьюзен

*Ах, мы молили людей о помощи – ангелы неслышно пролетели над
нашими поверженными сердцами.*

Райнер Мария Рильке

Однажды бабушка взяла меня с собой в Нью-Йорк навестить папу в больнице после операции на колене. Я вошла к нему в палату, а у его кровати сидела гостя – таких красивых женщин я никогда не встречала. На вид ей было лет двадцать с хвостиком, светло-каштановые волосы, уложенные в крупный, тугий пучок на затылке, подчеркивали очарование ее голубых миндалевидных глаз, совсем не похожих на глаза моей матери. На ней была старомодная белая блузка с воротничком-стойкой, отделанная кружевами. На запястье – часы с черным бархатным ремешком. Папа представил нас друг другу.

– Джейн, это Сьюзен.

Она была всего лишь на девять лет старше меня. А я отчаянно нуждалась в том, чтобы какая-нибудь женщина научила меня, *как мне быть*, и не иначе ангелы, пролетев над нашими поверженными сердцами, привели к нам Сьюзен. Если она “персик” – то самый спелый и сочный.

Я познакомилась с ней летом 1951-го, чуть больше чем через год после маминой смерти. Мне шел четырнадцатый год. У папы заканчивались гастролы по стране с “Мистером Робертсом”, всё лето ему предстояло играть в Лос-Анджелесе, и он устроил так, чтобы мы с Питером провели каникулы вместе с ними.

Мы с комфортом разместились в величественном особняке, который Уильям Рэндольф Хёрст выстроил несколько лет назад для своей любовницы Мэрион Дэвис¹³. Из этого особняка сделали отель с мраморными колоннами, мозаичными полами, золочеными зеркалами, выложенным плиткой бассейном олимпийских размеров и пляжным клубом. Почти всё лето мы проболтались на пляже, отчасти удовольствия ради, а отчасти – потому что Сьюзен, жительница Нью-Йорка, не умела водить машину. Возможно, другая жена потребовала бы от папы нанять шофера, чтобы проводить больше времени в Беверли-хиллз и лечить нервы шопингом. Но не Сьюзен. Она развлекалась с нами. Вспоминая собственную незрелость в ее возрасте, я не могу этого понять, но так или иначе, ее двадцатидвухлетней душе хватало щедрости и мудрости на то, чтобы окружить нас с Питером заботой и стать нам матерью. Питер называл ее второй мамой.

В один прекрасный калифорнийский вечер, когда солнце начало краснеть и ласковый ветерок доносил до нас солоноватый аромат моря и морской травы, мы сидели с ней на мраморных ступенях лестницы, которая спускалась к бассейну, и вдруг она спросила, что я думаю о маминой смерти.

У меня перехватило дыхание. За всё это время – более чем за год – никто в разговоре со мной не поднимал вопрос о моей матери и уж тем более не интересовался *моими переживаниями*. С этого всё и началось. Но я никак не находила нужных слов. Мне так редко приходилось выражать словами свои чувства, что я стала эмоционально неграмотной. Я ответила, что не смогла тогда заплакать и что я узнала о мамином самоубийстве из глянцевого журнала. Она молчала, и довольно долго. Наверно, не знала, что сказать. Я бы в ее возрасте точно не знала, а она, помнится, высказала предположение, что нет худа без добра. Сейчас я

¹³ Уильям Рэндольф Хёрст (1863–1951) – американский медиамагнат, с чьим именем связано понятие “желтой прессы”, основатель холдинга “Хёрст Корпорейшн”; Мэрион Дэвис – американская комедийная актриса немого кино.

удивляюсь, почему меня успокоило такое легкомысленное и вообще-то бессердечное отношение, но, когда я думала о маме, в моей голове царил такой сумбур, что это “нет худа без добра” стало для меня как бы инструкцией, дало мне ключ к пониманию произошедшего. Вероятно, Сьюзен знала, что мне необходим такой ключ.

Она была гибкая, с тонкими, точеными лодыжками и длинными “эльгрековскими” коленями. Она брала уроки у знаменитого хореографа Кэтрин Данэм, танец много значил для нее. Сьюзен часто кружилась по комнате или танцевала ча-ча-ча с воображаемым партнером, напевая бродвейские мелодии, ее длинные, до пояса, волосы развевались – это выглядело восхитительно. Иногда она пела в стиле ду-воп (рок-н-ролл) под джазовые пластинки и потрясая танцевала джиттербаг, закрыв глаза, пощелкивая пальцами и потряхивая головой. Потом я шла к себе в комнату и пыталась воспроизвести ее движения. Я всё время ей подражала. Если я смогу стать такой, как она, может, папа будет больше меня любить.

Сьюзен подарила нам смех – в нашей семье уже позабыли, как он звучит. У нее был свой набор анекдотов, порой длинных и замысловатых, и в кульминационной точке она сама чуть ли не лопалась от смеха; еврейских, ради которых мне пришлось выучить кое-какие слова на идише; не всегда понятных шуточек с сексуальным подтекстом из родного ей репертуара джазистов. В Сьюзен чудесным образом сочетались дурашливость и мудрость с небольшой добавкой новаторства для равновесия. Тем летом нас захлестывали волны ее жизнерадостности.

В Гринвиче вместе с бабушкой хозяйничали мамина младшая сестра с мужем-алкоголиком, и, говорят, они пытались официально оформить опеку над нами. Сьюзен заявила папе, что по отношению к нам было бы свинством отдать нас родственникам и он просто обязан взять нас жить с собой в Нью-Йорк. Думаю, в папины планы входило оставить детей в Гринвиче и время от времени навещать. Если бы после мамы у него была другая жена вместо Сьюзен – скажем, такая, как четвертая по счету, итальянка, – ей-богу, не знаю, что из нас вышло бы. Может, я и выжила бы, но полезным для общества человеком не стала бы. За время своего недолгого брака с моим отцом Сьюзен показала мне пример того, какой должна быть мачеха. Мне даже в голову не приходило, что в будущем, в двух замужествах, я сама буду мачехой шестерым детям, и полученные уроки окажутся весьма ценными.

Я была без ума от нее, да и жизненного опыта мне не хватало, поэтому я не могла заметить того, как менялась Сьюзен при папе, – хотя, вероятно, кое-что видела, но тут же забывала. Рядом с папой никто, кроме Питера, не оставался самим собой. Ее кипучая энергия несколько утихала. Если она вела себя чересчур шумно, папа осаживал ее: наверно, его смущало, что непосредственность и веселость Сьюзен подчеркивает разницу в возрасте между ними – двадцать три года. Как-то раз она сравнила их брак с союзом свахи Енте из “Скрипача на крыше” и нестигаемого ибсеновского пастора Бранда. В интервью Говарду Тейхманну она сказала: “Я вела себя как типичная японская жена. Мне хотелось делать всё, что ему нравилось”. Всё та же женщина-угодница, которая таким способом пытается сохранить близкие отношения. Не знала я и про ее булимию – скоро и я начну страдать от этого расстройства питания.

Всё это нисколько не мешало желанию Сьюзен подружиться со мной и моей готовности откликнуться на ее предложение. Она нашла во мне не искаленную подростковую душу, а отзывчивую компаньонку. Оглядываясь назад, я понимаю, что в моем детском стремлении спрятаться за образом Одинокого рейнджера проявлялось стремление к настоящей дружбе, а если дружба не настоящая – спасибо, не надо, обойдусь без вас. Но подобно лазерной системе самонаведения ракет, я могла сканировать горизонт и вылавливать теплые, реальные объекты, которые изучала вдоль и поперек. Но в более позднем подростковом возрасте – Сьюзен с отцом к тому времени уже развелись – я отключила свой “лазер” и доволь-

ствовала теми связями, какие находились, будь они настоящие или нет. В постпубертатном периоде одиночество – не вариант!

В то первое калифорнийское лето папа и Сьюзен часто водили нас с Питером обедать в шикарные голливудские рестораны – в “Браун Дерби” или в “Чейзенс”, одно из любимых папиных мест. Раньше нам не доводилось бывать с ним в такой обстановке, и хотя я знала, что он вообще-то знаменит, как это проявляется в его жизни, никогда не видела. Эффект меня поразил: когда папа вошел, в зале словно поменялось энергетическое поле, будто он был намагничен. Хозяин ресторана мистер Чейзен обращался к нему по имени, и пока нас проводили к папиному “личному” столику (в “Чейзенс” были отделанные красной кожей секции), головы поворачивались в нашу сторону, и я слышала шепот со всех сторон: “Смотри, это?..” Официанты знают, как тебя зовут и что принести тебе выпить, хотя еще не получили заказа, – я решила, что это и есть слава. Иногда нам составляли компанию его агент из Американской музыкальной корпорации или владельцы этой корпорации Лью Вассерман и Жюль Стейн с женами.

Вместе с приглашением войти в папин взрослый мир я получила шанс посмотреть, что и как там происходило. Я с интересом отметила, что среди людей, да еще после двух порций виски, папа вел себя совсем иначе – с теми, кто не был ему близок, он держался более дружелюбно и раскованно. Но особенно внимательно я наблюдала за Сьюзен, ловила каждое ее движение в обществе – в присутствии людей из старшего поколения (важных людей) она напускала на себя серьезный вид, а со старыми папиными приятелями, к примеру с Джонни Сопом и Дороти Макгуайр, непринужденно болтала и хохотала. Как-то раз, по дороге в Оушн-Хаус, она запустила руку себе под платье и, громко смеясь, вытащила из бюстгалтера искусственные вкладыши. Не знаю, смогла бы я столь же легко проделать такое прилюдно. Я всегда старалась максимально скрыть от посторонних то, что считала своими изъянами – в частности, объем груди и бедер, – и надеюсь, никто не замечал моих стараний. У меня была тонкая талия – примерно девятнадцать дюймов¹⁴ – и полные, высокие бедра, как мне казалось, чересчур широкие для моей талии. Хуже того – я случайно услышала, как папа сказал, что у меня тяжелые ноги. Услышав это, я легла и проспала двое суток – это был единственный известный мне способ отвлечься от слов, которые преследовали меня до конца жизни.

В то лето я сблизилась с Питером, в прямом и переносном смысле. Поскольку мы жили в соседних комнатах и делили общую ванную, у нас была масса возможностей общаться и смазывать друг другу обгоревшую на солнце кожу. Наши гринвичские компании остались в прошлом, и в то время как мы приноравливались к, очевидно, новой для нас жизни, рядом не было никого, кроме нас самих. По выходным в большом зале первого этажа отеля устраивали танцы для взрослых под живую музыку, с большим оркестром. Под влиянием Сьюзен я решила, что надо заняться танцами, поэтому мы с Питером украдкой пробирались вниз и как сумасшедшие вальсировали в соседней с залом пустой комнате. Иногда мы танцевали в обнимку под медленную музыку. Приятно было иметь брата, с которым я могла спокойно тренироваться. В то лето я поняла, как сильно я переживаю за него, а также более четко увидела, насколько мы разные.

Мы жили в разном темпе, по-разному смотрели на жизнь и справлялись с той или иной проблемой. В немалой степени это объяснялось тем, что мама больше любила Питера – во всяком случае, пыталась привязать его к себе, – а я скорее была папиной дочкой. Сьюзен недавно сказала мне, в чем это проявлялось: “Ты была очень внимательна и осторожна, всё впитывала. А Питер был несдержан и вечно играл на публику”. Папа, хотя и невольно, часто бывал жесток с Питером. Я говорю “жесток”, потому что это выглядело именно как жесто-

¹⁴ Около 49 см.

кость, пусть и непреднамеренная. Он старался быть хорошим отцом, делал то же самое, что, очевидно, его отец делал вместе с ним: рыбачил, запускал воздушных змеев, собирал самолетики – всё, что объединяет мужчин. Но если папа или мама не слишком довольны собой, труднее всего приходится ребенку соответствующего пола. А если родители знамениты, этот эффект усиливается многократно. Хлюпиком ты чувствуешь себя не из-за отца, а из-за того, что он – кумир миллионов, эталон честности и благородства. Не думаю, что папа был абсолютно доволен собой, и, возможно, наблюдал у Питера собственные давно задавленные эмоциональность и восприимчивость. “В твоём отце таились крик и смех, которые он так и не выпустил наружу”, – сказала однажды Сьюзен. Папа не выносил никаких проявлений чувств. “Ты меня раздражаешь”, – говорил он по крайней мере двум из своих жен, когда они плакали. Может, это его пугало; может, ему казалось, что, если он один раз даст волю своим эмоциям, они поглотят его. Я думаю, когда-то давно папе сказали, что, если он хочет стать “настоящим мужчиной”, он должен избавиться от всяких сантиментов, а нежность, потребность в близости, стремление быть нужным – это всё бабьи штучки. Мы все знаем, сколь распространено такое мнение среди мужчин и какую цену они за это платят. В случае с моим отцом пример его отца и суровый стоицизм Среднего Запада, вероятно, обострили его представления о мужской этике. Подобно тому как в его родной Небраске пролегающий под песчаными холмами огромный водоносный слой прорывается на поверхность, образуя озера, папино скрытое “второе я” выходило на свободу в его увлечении садом и искусством – живописью и рукоделием, – в эмоциональном воплощении образа Тома Джоуда.

В детстве я интуитивно понимала, сколь резкие противоречия клокают у него в душе, словно противоборствующие армии на поле боя. Я любила его глубинную доброту и нуждалась в ней. В своей книге “Не хочу об этом говорить” психолог Терренс Рил пишет: “Сыновьям не нужны отцовские бицепсы – им нужны их сердца”. Дочерям тоже. Если бы мой папа сумел примириться со своей чувственной составляющей, он стал бы счастливее, и несколько поколений нас, его наследников, были бы более счастливы – в силу теории, с которой согласуется старое представление о маскулинности как сильном отравляющем средстве. Элементы патриархального танца родственных отношений папа перенял от своего отца, хотя иногда их усваивают от матерей, и это губительное наследие передалось следующим поколениям и действует по сей день.

Я твердо намерена по мере своих сил, пока жива, помогать моим детям, всем остальным и себе самой учить другие па этого танца.

Питер до мозга костей был сама доброта, ласка и сентиментальность. Он ни разу никому и ничему не причинил вреда намеренно. Один раз – в шестидесятых годах – он даже поспорил со мной о том, есть ли душа у овощей. Его феноменальный, очень сложно устроенный мозг схватывал и перерабатывал всё, от мельчайших подробностей детской жизни до космических вопросов, включая огромный объем информации в промежутке. Папа не мог ни оценить, ни вскормить эмоциональность Питера, не мог видеть его таким, каким он был. Напротив, папа стыдил Питера и пытался склонить его к собственной стоической независимости. Питер привязывался к людям и животным. Тем летом в Оушн-Хаус он постоянно просеивал песок из-под пляжных кабинок в поисках провалившихся в щели между досками монет. Когда у него набиралась некая сумма, он мог добавить ее к своим карманным деньгам и оплатить междугородный звонок в Гринвич, чтобы спросить Кэти, как там Баз, наш шестилетний далматин. И вот однажды он услышал в ответ, что База усыпили, даже не поинтересовавшись нашим мнением. Питера словно оглушили. Я слышала, как он плакал за стенкой, у себя в комнате, пока не заснул. На меня же это не произвело большого впечатления. В действительности Гринвич был пройденным этапом. Нам предстояло жить с папой и Сьюзен в большом городе, а... в общем, в городе с собакой не очень удобно.

В школе Питер вечно терпел насмешки одноклассников и сталкивался с жестокостью мальчишек по отношению к более слабым товарищам, которая, как им казалось, подтверждает, что уж они-то точно “настоящие мужики”. К чести Питера, он прогибался крайне редко. Поразительно, как он, несмотря на папин гнев, умудрялся оставаться самим собой и с открытой душой бросал отцу вызов: “Принимай меня таким, какой я есть. Я не собираюсь меняться ради того, чтобы тебя порадовать”. А я, в свою очередь, крайне неохотно шла на то, что могло бы вызвать неодобрение отца, – до тех пор, пока не стала старше и не поняла, что, если я хочу привлечь к себе его внимание, я могу рассчитывать лишь на неодобрение.

Глава 7

Голод

*Я вечно в голоде жила
И вот дождалась ужина.
Дрожая, уселась у стола
И выпила вина.*

*Так было на столах, когда,
Голодная, одна,
Смотрела в окна богачей
И так была бедна...
<...>*

*Мне голод не грозил, я знала,
Что голод – лишь предлог
Для тех, кто за окном
И внутрь попасть не мог.*

Эмили Дикинсон, 1862¹⁵

Голод пришел в то лето, проведенное со Сьюзен. Я постоянно пребывала “вне себя”, и образовавшуюся внутреннюю пустоту заполнила неотвязная подспудная тревога. Я не понимала ее происхождения, просто подумала, что так, видимо, воспринимает жизнь девочка, которая вошла в возраст “ты-должна-быть-женственной” и чувствует себя сторонним наблюдателем с прижатым к стеклу носом, страстно желая попасть внутрь и не понимая, что на самом деле смотрит извне на себя же; но могла ли я находиться внутри себя, если, как выяснилось, я далека от идеала? Кому же хочется оказаться внутри чего-то неидеального? До этого лета, когда мне было тринадцать, идея “совершенства” не застила мне горизонт – я была слишком увлечена лазаньем по деревьям и армрестлингом. Теперь время пришло.

Ощущение несовершенства в основном было связано с моим телом. Это стало моим Армагеддоном, внешним доказательством моей неполноценности – я была недостаточно худая. Оглядываясь назад, я думаю, что самоубийство моей матери непременно должно было сыграть свою роль; в конце концов, благодаря худобе можно отсрочить превращение в женщину и отодвинуть угрозу стать жертвой, так как андрогинность дает свободу. Маме ее тело тоже не давало покоя. Конечно, сказалось и влияние индустрии моды с ее идеей изящной худощавости и стремлением как можно прочнее вбить эту идею в головы девочкам, едва начавшим формировать собственный стиль. Но и мой отец внес свой вклад. По его глубокому убеждению, женщина должна быть тощей. Кузины Фонда говорили мне, что этого мнения придерживались все мужчины в их роду, много поколений назад. Дау Фонда на смертном одре спросил свою дочь Синди: “Тебе удалось сбросить вес?” Она была вовсе не толстой. Многие женщины фамилии Фонда страдали пищевыми расстройствами, и по крайней мере две из папиных жен мучились от булимии. С тех пор как я достигла подросткового возраста, папа лично высказался по поводу моей внешности лишь однажды, заметив, что я полновата. Обычно он просил свою жену сообщить мне, что он недоволен мною и что ему хотелось бы видеть меня в другой одежде – в менее открытом купальнике, с более свободным поясом и в платье подлиннее.

¹⁵ Перевод В. Савина.

На самом деле я никогда не отличалась полнотой. Но это не имело значения. Если девочка старается кому-то понравиться, важно то, какой она сама себя видит, как она привыкла смотреть на себя – чужим оценивающим, осуждающим взглядом.

Моя детская подруга Мария Купер Дженис однажды рассказала мне, как когда-то – ей было лет шестнадцать – ее родители, Рокки и Гэри Купер, приехали к нам в гости на ланч в Малибу. И, видимо, пока мы сидели на пляже, мой отец сказал Рокки: “Джейн досталась фигура, зато Марии – лицо”. Странно, что ее мама ей это передала, но больше всего меня поразило то, до какой степени, судя по этой фразе, мой папа критично относился ко мне и запросто мог унижить меня даже при посторонних.

Проблема, очевидно, заключалась в том, что стремиться к идеалу – значит стремиться к чему-то недостижимому. В конце концов, все мы простые смертные, и никто не ждет от нас совершенства. Оставим совершенство Господу Богу, а мы, люди, как сказал Карл Юнг, должны стремиться к *завершенности*. Но до тех пор, пока мы не прекратим гонку за идеалом, завершенности (то есть целостности) нам не достичь. Совершенство искушало меня, и из-за этого я путала голод духовный с голодом физическим.

Губительная тяга к совершенству свойственна женщинам. Многих ли мужчин волнует, идеальны они или нет? Более или менее нормально – ну и хорошо, думает большинство мужчин.

Папа решил, что надо отправить нас с Питером в закрытую школу с пансионом, как в те годы делали все, кто мог это себе позволить. Питера определили в школу для мальчиков Фэй в Массачусетсе, а меня – в школу Эммы Виллард, которая находилась в городе Трой, в штате Нью-Йорк. С самого первого года моего пребывания в школе Эммы Виллард худоба ценилась выше по иерархии важных качеств, чем хорошие волосы.

Однажды мне попалась в журнале реклама, которая обещала выслать в обмен на вырезку из журнала и 2 доллара особую разновидность жевательной резинки с яичками глистов – если сжевать эту резинку, глисты вылупятся и сожрут всё, что ты съела. Мне это показалось прекрасной идеей – как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Я выслала 2 доллара и вырезку, однако жвачку так и не получила. Недавно я поведала подруге эту историю, и она сказала: “Джейн, ты же была умной девочкой. Разве можно было быть такой балдой, чтобы поверить этому и перевести деньги?” Можно, потому что мне было тринадцать, что равносильно бессмертию, а когда речь шла о похудении, здоровье в расчет не принималось. Я знала, что от глистов не умирают. Возможно, я дважды подумала бы, прежде чем подписаться на рассылку вируса бубонной чумы. Но всё, что позволяло похудеть, ничего для этого не делая, казалось мне очень заманчивым. Я, заметьте, не ударялась в крайности, в отличие от других девочек, которые отказывались принимать пищу и попали в больницу, но гордилась тем, что была одной из самых худых в классе.

Затем, на второй год, в нашу школу пришла Кэрол Бентли, синеглазая брюнетка из Толедо (Огайо), которая сразу стала моей лучшей подругой. Я помню, как впервые встретила с ней, когда вылезала из душа в общежитии. Она была голая, и у меня дух перехватило. Я никогда не видела такого тела – хорошо развитая, крепкая, высокая грудь над тонкой талией, узкие бедра и длинные, точеные ноги, как у Сьюзен. С первого взгляда мне стало ясно, что рано или поздно она покорит мир, а может, если подольше с ней пообщаться, какая-то доля ее власти передастся и мне. Я уже привыкла отождествлять власть и успех с совершенством женского тела.

Невзирая на совершенство своего тела, Кэрол тоже заинтересовалась проблемами формирования фигуры. Это она научила меня объедаться, а потом принимать слабительное – сейчас это называется булимией. Она додумалась до этого на уроке истории, когда мы изучали Римскую империю. Она прочла, что римляне устраивали оргиастические пиршества,

обжирались, а затем засовывали пальцы в глотку, чтобы вызывать рвоту и вновь вернуться к еде. Можно есть самую калорийную пищу, и тебе ничего за это не будет – звучало соблазнительно.

Объедались и очищались мы только перед школьными танцами и каникулами, когда собирались ехать домой, и тогда мы сметали с прилавков все шоколадные пирожные и мороженое, какие попадались нам на глаза, и лопали, пока наши животы не раздувались до размера пятимесячной беременности. Потом мы запихивали в рот пальцы и вываливали всё обратно. Нам казалось, что после древних римлян мы первые такое проделывали, наша общая тайна приятно щекотала нервы.

Позже это превратилось в ритуал с особыми условиями – мне надо было остаться одной и надеть удобную, свободную одежду. В бессознательном состоянии я отправлялась в магазин за вкусной едой, начиная с мороженого и заканчивая выпечкой, – *только один, самый последний разочек*. Дыхание мое учащалось (как во время секса) и становилось неглубоким (как от страха). Перед трапезой я пила молоко, потому что, если оно поступало в желудок первым, легче было под конец вызвать рвоту. Еда возбуждала уже сама по себе, и мое сердце начинало колотиться. Но, проглотив всю пищу, я испытывала непреодолимое желание исторгнуть ее, пока мой организм ее не усвоил. Ничто не могло помешать мне избавиться от съеденного, дистанцироваться от всей этой нездоровой массы, которая поначалу так напоминала о материнском вскармливании, ибо я точно знала, что, если это всё останется у меня в желудке, мне не жить. Затем я падала на кровать и засыпала мертвым сном. *С завтрашнего дня всё пойдет иначе*. Ничего не менялось.

Не будет никаких последствий, за которые придется расплачиваться, – это оказалось иллюзией! Прошли годы, прежде чем я позволила себе признать, что занималась опасным делом, вызывающим привыкание. Анорексия и булимия, как и алкоголизм, – это болезни отрицания фактов. Кажется, что ты владеешь ситуацией и сумеешь остановиться в любой момент, но это самообман. Даже когда я поняла, что не в силах остановиться, я не думала о зависимости – скорее о собственной слабости и никчемности. Сейчас это кажется мне абсурдом, но самобичевание – один из симптомов болезни. Мой недуг принимал то одну форму, то другую, но не оставлял меня со второго класса школы-пансиона до тех пор, пока мне не перевалило за сорок, с ним я дважды выходила замуж и родила двух детей. Ни мои мужья, ни дети, никто из моих подруг и коллег так и не узнали о моей болезни.

Булимию, в отличие от алкоголизма, легко скрыть. Как и многие люди с пищевыми расстройствами, я тщательно маскировалась – не хотела, чтобы меня остановили. Я была уверена в том, что контролирую себя и при желании могу прекратить хоть завтра. Я часто уставала от булимии, раздражалась, злилась, тосковала, но так стремилась сохранить приличия, что по большей части никто не знал, что за этим стояло.

В колледже я пристрастилась еще и к декседрину – начала принимать его, когда готовилась к экзаменам, и обнаружила, что он гасит аппетит. Когда я стала подрабатывать моделью, чтобы платить за актерские курсы и жилье, один бессовестный нью-йоркский врач-«диетолог» охотно выписывал мне рецепты на декседрин вместе с диуретиком, который выводил из организма добавляющую объем воду, а заодно мог необратимо повредить почки. Декседрин взвинчивал меня, усиливал эмоциональность, и я начала думать, что без него играть уже не смогу.

Булимия мучила меня годами, за исключением тех периодов, когда она сменялась анорексией (голоданием), что Мэрион Вудман, психоаналитик, придерживающийся теории Юнга, сравнивала с поведением алкоголика, который бросил пить, но сохранил повадку пьяницы. В эти дни я почти ничего не ела, разве что сердцевинку яблока (ни в коем случае не целое яблоко) или крутое яйцо (за весь день). Мои кожа да кости свидетельствовали о моей моральной стойкости. Лет в двадцать с небольшим я работала моделью, играла на Бродвее,

снималась в кино, мне приходилось больше обнажаться, и тогда болезнь особенно обострялась. Я просматриваю некоторые свои фильмы и вижу на лице и во взгляде ее признаки – безотчетную, подавленную грусть, вижу вызванное декседрином возбуждение во время телевизионных интервью, противоестественную худобу – следствие приема мочегонных препаратов. Если бы тогда я могла раскрыться в роли полностью, не будучи наполовину изуродованной мучительным недугом, о котором не догадывалась ни одна живая душа, насколько лучше я смотрелась бы в тех первых своих фильмах!

Болезнь неизменно одолевала меня всякий раз, когда я изменяла себе, пыталась изобразить не то, что чувствовала на самом деле, в известном смысле предавала сама себя. Раньше, до подросткового возраста, я могла уклониться от притворства – просто погрузиться в образ Одинокого рейнджера. Но став старше, я напускала на себя тот вид, который нравился моему отцу и знакомым мальчикам, – лишь бы не остаться в одиночестве. Меня всегда волновало, довольны ли мои мужчины. Мне приходилось терпеть ложную близость, а это требовало самоотречения, что приводило меня в состояние вечной тревоги. Но я предпочитала отделаться от своих подлинных ощущений и “закормить” их, только бы не остаться одной.

Если я сидела за накрытым столом или просто оказывалась рядом с едой, меня охватывала тревога, поэтому я старалась избегать ситуаций, требовавших общения во время трапезы. Свои самые прекрасные, веселые, полные чувственности годы я прожила в коконе, прячась за собственным оцепенением. Всю свою способность к близости я берегла для разбитых полов уборных в общежитии, а позже – для изысканного кафеля в туалетах лучших ресторанов Беверли-хиллз. Я отлично наострилась изрыгать обратно всё, что съедала, и возвращаться за стол аккуратной и подтянутой, с жизнерадостной улыбкой.

После сорока я избавилась от пищевых зависимостей, но лишь в третьем акте – после шестидесяти – я начала принимать себя со всеми своими пороками и вновь заселилась в собственное тело, поняв, что, как сказано в последних строках стихотворения Эмили Дикинсон, “голод – лишь предлог для тех, кто за окном и внутрь попасть не мог”.

Эмма Харт Виллард, первопроходец в сфере женского образования, основала духовную семинарию для девочек в 1814 году. До тех пор пока она не встала на защиту права женщин на образование, последние надеялись только на частные фонды и курсы, в то время как мужские образовательные учреждения получали государственную поддержку.

Помните фильм “Запах женщины” с Аль Пачино в главной роли? Его снимали в школе Эммы Виллард. Ее великолепное готическое здание возвышается над лесистыми холмами в окрестностях Нью-Йорка. Башенки, горгульи, витражи, невероятно широкие лестницы с точеными деревянными перилами – всё это там сохранилось. Я в этом шикарном заведении чувствовала себя несчастной почти всегда. Горевать да сетовать на отсутствие мальчиков и строгие правила – чем не развлечение? На самом деле я не задумываясь вернулась бы туда. Учителя там были чудесные, уроки побуждали к учению.

Каждое воскресенье полагалось посещать церковь, в шляпе и перчатках. На моей памяти служба лишь однажды произвела на меня глубокое впечатление – когда его преподобие доктор Говард Терман, первый афроамериканец среди деканов церкви Бостонского университета, стал молиться за нас. Мой отец был агностиком, и вопросы религии мы не обсуждали. Но мне очень нравились протестантские гимны – и петь нравилось, и слушать. Я до сих пор ловлю себя на том, что напеваю их, когда рыбачу или дергаю сорняки. В фильме “Клют” есть сымпровизированный эпизод – я в роли Бри Дэниел сижу на столе одна в квартире, курю травку (как бы) и вдруг начинаю тихонько петь сама себе: “Отец наш Бог, брат наш Христос, все, кто живет в любви, – твои...” Не знаю, зачем я это сделала, как-то само собой вышло, и режиссер, Алан Пакула, который всегда уважал чужое мнение, оставил эту сцену.

Однажды мы – группка первокурсниц – собрались после обеда в маленькой комнате в общежитии, расселись на кроватях и принялись болтать. Тогда-то я и обнаружила, что я – одна из немногих в классе, у кого еще не начались менструации. Девочки без конца обсуждали, какие прокладки лучше (*Kotex*), кто пользуется тампонами (мало кто), больно ли их запихивать (не больно), у кого бывают спазмы и как долго длятся месячные. Я во время этих дискуссий помалкивала. Не хотела, чтобы кто-то узнал о моей неполноценности “там”. Вообще-то тогда мы уже называли этот орган вагиной. Моя вагина была с дефектом. Примерно в это же время, когда мы учились на втором курсе, человек из Бронкса по имени Джордж Йоргенсен-младший поехал в Данию и стал Кристиной Йоргенсен – так мир впервые услышал об операции по перемене пола. “Природа ошиблась, а я исправила ее ошибку, – написала Кристина своим родителям. – Теперь я ваша дочь”. Перемена пола взбудоражила всю Америку, на месяц обеспечив ее новостями, которые отодвинули на второй план войну в Корее и испытания водородной бомбы.

Эта история захватила меня, вслед за Йоргенсеном я тоже решила, что со мной произошла ошибка и, возможно, я – мальчик в девичьем облике. Преследуемая этой мыслью, я ложилась на пол, задирала ноги на стул и пыталась разглядеть в зеркале хоть какие-то признаки пениса. Осмотреть свое влагалище довольно трудно. Это требует упорства. Надо извернуться и принять подходящую позу, так чтобы попадал свет и не падала тень, или взять фонарик, но в любом случае нелегко приладить зеркало. Мне хотя бы не пришлось бороться с лобковыми волосами. На них не было и намека, и появились они лишь через годы. Естественно, я отыскивала клитор и еще целый год была уверена, что это пенис, который должен вырасти, и очень жалела, что рядом не оказалось мамы и ей не суждено было узнать, что ее дочь на самом деле была долгожданным сыном. Я ни с кем не поделилась своими тревогами и никогда никому не рассказывала ни о своих странных детских фантазиях, ни о том, что, как мне показалось, бойфренд моей няни приставал ко мне, ни о приключившемся со мной в лагере заболевании половых органов. Всё это осталось во мне моим тайным проклятьем.

О своих половых органах и связанных с ними страхах я пишу потому, что в третьем акте своей жизни нашла новое дело – иногда мне кажется, что это и было моим “призванием”. Я занимаюсь проблемами пола, сексуальности, ранней беременности и родительских обязанностей, которые волнуют молодежь. Говорят, учишь тому, что хочешь узнать сам, и благодаря своей работе я узнала, что мои детские травмы и волнения далеко не редки. Если я вообще способна писать о своих половых органах, так это благодаря Ив Энслер, автору пьесы “Монологи вагины”. Вероятно, кому-то из вас больше понравилось бы, если бы меня осенило прозрение, но этого не случилось, а женщинам и девочкам порой необходимо поговорить о самых непростых вопросах. Это могло бы объяснить очень важные наши особенности. В конце концов, наше влагалище обладает разнообразными свойствами и на многое способно. Оно умеет растягиваться, ужиматься, рожать, радоваться и дарить радость. В 2001 году, перед тем как ненадолго вернуться к работе – я играла в “Монолог вагины” в Мэдисон-сквер-гарден, – выступая в тележурнале “20/20”, я сказала Барбаре Уолтерс: “Если бы пенис был способен на половину того, на что способна вагина, он заслужил бы изображение на почтовой марке и двенадцатифутовую статую в ротонде вашингтонского Капитолия”. Но поскольку вагина принадлежит другому полу, ее на протяжении многих веков насилюют, бесцеремонно разглядывают, режут, ушивают, унижают и всячески порочат – так поступают с тем, что внушает страх (надуманный), зачастую необходимый мужчинам для того, чтобы установить свое превосходство.

Вплоть до старшего подросткового возраста мое собственное влагалище отзывалось лишь болью в попе. Все остальные мои части и органы успешно адаптировались к обстановке, но влагалище упорно не желало этого делать. На втором курсе я решила купить прокладки, причем так, чтобы все обратили на это внимание, и сделать вид, что у меня тоже

месячные. Проснувшись у меня в среднем возрасте интерес к здоровому образу жизни и фитнесу тогда ничем себя не обнаруживал. Я ненавидела уроки физкультуры и командные виды спорта, частенько от них отлынивала, поэтому у меня чаще всех в школе наступали самые продолжительные и болезненные менструации, которые освобождали меня от занятий в спортзале. Так я жила месяц за месяцем под угрозой разоблачения. На уроках биологии мы узнали, что иногда, если девочка боится стать женщиной, гормоны не вырабатываются, и половая зрелость наступает позже. Вероятно, это со мной и случилось, потому что, видит Бог, я боялась стать женщиной – боялась превратиться в свою мать!

На каникулах я обычно возвращалась в Нью-Йорк, в уютный, роскошный дом из песчаника, где жили папа и Сьюзен и где отвели по комнате нам с Питером. Под Рождество 1951 года состоялось мое первое настоящее свидание. Дэнни Селзник, сын легендарного продюсера “Унесенных ветром”, пригласил меня в бродвейский театр на спектакль “В случае убийства набирайте М”, куда пошли также его отец и мачеха, Дженнифер Джонс. Я с детства время от времени встречалась с Дэнни, иногда приходила к нему домой поиграть, но свидание – это было что-то новенькое. Я знала, что Дэнни гораздо опытнее меня в таких делах, у него были свидания с Брук, поэтому пришла в возбуждение и очень нервничала. Брук, кстати, по-прежнему жила в Гринвиче и вскоре после этого появилась в качестве дебютантки года на обложке журнала *Life*.

Для этого свидания Сьюзен дала мне свое нарядное платье из серого шантунга с глубоким вырезом и показала, как вставить вкладыши в лифчик. Под платье я надела жесткую нижнюю юбку с кринолином по тогдашней моде – пышная юбка в сочетании с тонкой талией выгодно подчеркивала достоинства моей фигуры. А дальше как в кино: позвонили в дверь, Сьюзен открыла, я спустилась вниз встретить Дэнни, мы вышли, сели в лимузин, где нас ждали мистер Селзник с Дженнифер Джонс, и все вчетвером отбыли в модный ресторан поужинать перед спектаклем. Помнится, я заказала бифштекс. Когда я резала его, один кусочек выскользнул из тарелки и попал мне в вырез платья, но застрял во вкладыше и потому не провалился дальше, до талии. Я сделала вид, что ничего не произошло, надеясь, что никто ничего не заметил. Но вскоре жир просочился сквозь серый шантунг, и образовалось темное пятно. Я извинилась и, проклиная свою злую участь, чувствуя себя неуклюжей коровой и прикрывая грудь сумочкой, пошла в туалет. Только я закрыла дверь и сунула руку в платье, вошла Дженнифер Джонс и увидела меня. Дженнифер Джонс из “Песни Бернадетт” и “Дуэли под солнцем” засекла, как я извлекала кусок мяса из выреза платья! Униженная до предела, я попыталась замаскироваться, но Дженнифер всё отлично видела и рассмеялась, весело и мило. “Джейн, бедняжка, – сказала она, – давай я тебе помогу!” И она подложила мне под платье бумажные полотенца (*Боже, только бы она не заметила вкладыши!*), промокнула жир, вытерла теплым влажным полотенцем, дала мне свою шаль, чтобы я прикрыла мокрое пятно, и, нежно обняв меня, проводила обратно к нашему столику. С тех пор Дженнифер возглавляет мой рейтинг благородных людей.

Второе лето мы – папа, Сьюзен, Питер и я – провели все вместе в арендованном лесном домике на Лонг-Айленде, на окраине Ллойд-нек, так что папа мог ездить в город, где играл в спектакле “Точка невозврата”.

Тем летом я боролась с приступами депрессии, хотя никто их не признавал – и в последнюю очередь я. Это “жизнь”, считала я. Могла проспать часов до двенадцати, а то и до часу дня, и папа ругал меня за лень и мрачность. Я впервые почувствовала себя изгоем на празднике жизни и думала, что навсегда останусь за бортом. Я не видела перед собой будущего. Даже леса больше не манили. Поскольку переход к подростковому периоду ознаменовал начало отторжения моего тела, постольку я начала отдаляться от природы, от которой зависела в детстве.

На шикарных вечеринках в соседних домах вступающие в светскую жизнь девочки танцевали с мальчиками из лучших частных средних школ, таких как эндоверская и экстерская Академии Филлипса. Я мечтала тоже туда попасть, но сама не могла это устроить, а папа не был вхож в эту элитарную прослойку лонг-айлендского общества.

Потом, в довершение всех моих страданий, меня пригласили в гости к девочке из моей школы, которая на первом курсе была как бы моей “старшей сестрой” и очень хотела стать моей подругой, хотя нас мало что объединяло; она жила в Сиракузах (штат Нью-Йорк). Я вовсе не хотела ехать, но не понимала, как отказаться, – я еще долго не могла справиться с этой проблемой, гораздо дольше, чем мне хотелось бы признать. На вокзале в Сиракузах меня ждал неприятный сюрприз – нас поджидали два репортера, которые хотели получить интервью: ДОЧЬ ГЕНРИ ФОНДЫ ГОСТИТ У ШКОЛЬНОЙ ПОДРУГИ В СИРАКУЗАХ – разумеется, с фамилией принимающей стороны на видном месте. Мне неловко было отвечать на вопросы, ведь я никакая не звезда, мне нечего было поведать публике, и я злилась на подругу, которая так меня подставила, хотя ей я, конечно же, ничего не сказала.

На следующий день мы поехали на озеро Онтарио. Я решила попробовать нырнуть по-новому, как недавно видела в кино – надо было разбежаться и прыгнуть поперек небольших волн, касаясь их вскользь. Но я недооценила свои силы и вместо того, чтобы проскользнуть по волнам, стукнулась макушкой о дно. В то же мгновение я поняла, что случилась беда, и быстро оттолкнулась от дна, вынырнула и разинула рот, чтобы позвать на помощь, но не смогла издать ни звука. Не сумев закричать, я перепугалась. Кое-как я преодолела волну, выбралась на песок и осталась лежать, не шевелясь. Я не могла ни двинуться, ни говорить, в спине я ощущала тупую боль. Моя подруга с мамой подбежали ко мне, но я жестами попросила их дать мне немного отлежаться. Спустя какое-то время я смогла заговорить, медленно поднялась, доплелась до машины, вернулась с ними в дом и легла в кровать.

Утром я сказала, что должна уехать в город. Мне было не по себе, но, скорее всего, я перегнула палку, заторопившись домой. На обратном пути, в поезде, я заявила кондуктору, что у меня сломан позвоночник и мне необходимо лечь, вытянувшись на всём сиденье, – а потом почувствовала себя виноватой из-за своего вранья.

Еще четыре-пять дней я слонялась по дому в городе, а потом пошла к папе в театр, за кулисы. “Папа, – сказала я, стараясь не ныть, – кажется, с моей спиной что-то стряслось. Наверно, мне надо сделать рентген”. Папа позвонил Сьюзен, она приехала и отвезла меня в больницу. Рентген показал трещины в пяти позвонках между лопатками. Врачи говорили, что я чудом не осталась инвалидом. Одно неверное движение в последние пять дней, сказали они, и меня парализовало бы навсегда.

В наше время переломы позвоночника лечат совсем иначе, но тогда были пятидесятые годы. Меня заковали в гипс от ключиц до лобка, словно в толстую, тяжелую смирительную рубашку. Врачи не позаботились оставить мне хотя бы видимость талии. За несколько недель до этого события я впервые получила вожделенное приглашение на грандиозный, торжественный танцевальный вечер. И на кого я теперь похожа? Моя жизнь определенно рухнула. Ничего подобного, возразила Сьюзен, и мы с ней отправились в магазин для будущих мам, где мне подобрали вечернее платье для беременной. В назначенный день она лично занялась моей прической, сделала мне легкий макияж и не отходила от меня, пока я не приколола к платью орхидею, которую принес мне мой партнер, и не уселась благополучно на заднее сиденье автомобиля.

На балу я пользовалась колоссальным успехом. От кавалеров отбоя не было: вероятно, мальчикам было интересно, каково это – прижаться грудью и животом к гипсовому корсету. Мне же было интересно ощутить своей грудью и животом грудь и живот мальчика, однако с первым опытом волнующего, приятно щекочущего телесного контакта, пусть и через одежду, пришлось подождать.

Настала осень, пора было возвращаться в школу Эммы Виллард, на этот раз – в гипсе и потому в платье для беременных. Можно было не ходить на физкультуру – это плюс. Но непонятно, что делать с грудью, – это минус. Мне казалось, что грудь выросла уже у всех, кроме меня. Конечно, и два месяца назад, когда меня загипсовали, ее не было, но теперь, под неэластичным гипсом, не осталось пространства для ее роста. Я была уверена, что, если моя грудь начнет увеличиваться, она окажется стиснутой. Мало того, что у меня половые органы ущербные, так теперь еще и грудь будет расти внутрь!

Летом 1954 года, в шестнадцать с половиной, у меня наконец начались месячные. Когда они пришли, после всех связанных с ними переживаний, я узрела в этом страшную перспективу истечь кровью через мою неправильную вагину. Сьюзен вправила мне мозги, объяснив, что это менструация. Она приготовила мне полотенце, помогла приладить между ног прокладку, а когда я вылезла из-под душа, обняла меня и сказала: “Поздравляю, Джейн, ты стала женщиной!” *Женщиной?* Ее слова утишили мой страх скончаться на месте от потери крови, но породили новые тревоги.

Женщиной? Но я не хочу становиться женщиной. Женщин ломают.

Днем Сьюзен посоветовала мне обратиться к гинекологу – она знает очень хорошего доктора. Кроме того, сказала она, раз я отныне способна забеременеть, следует обсудить с врачом способы контрацепции, причем мои беседы с ним должны остаться между нами. “Надеюсь, Джейн, у тебя пока не будет половых связей, – добавила Сьюзен. – Для этого ты еще слишком молода. Но о контрацепции надо знать”. Какая мудрая мачеха! Она сделала всё, что должна сделать любая мать, родная или приемная, когда у ее дочери начнутся менструации.

Доктор по имени Лазарь Маргулис одним из первых начал применять столь популярные сейчас пластиковые внутриматочные спирали. Усевшись на стул у него в кабинете, я разревелась и описала ему свои связанные с половой сферой страхи, накопленные за многие годы тревоги, волнения из-за Кристин Йоргенсен и “наверно, я рождена быть мужчиной” – рыдая, я выплеснула всё. Очевидно, он привык к вопросам испуганных подростков, поэтому терпеливо слушал меня. Чудесно было встретить специалиста, который не судил меня строго и к которому можно было обратиться с этими непростыми проблемами. Пусть так везет всем детям! Во время осмотра я крепко зажмурилась и чуть ли не перестала дышать, пока он производил свои гинекологические манипуляции. А когда он объявил, что я нормальная на все сто процентов, я снова заплакала – на этот раз с облегчением.

Мы обсудили возможные способы контрацепции – противозачаточных таблеток тогда еще не было, но были диафрагмы и медные ВМС. Мне понравилось предложение со спиралью, так как можно было не волноваться, что я криво вставила диафрагму. Решение было принято незамедлительно.

Помню, однажды в школе кто-то пустил по рукам перечень всевозможных сексуальных техник, какие только можно было вообразить, и мы отмечали те, что когда-либо попробовали. Кэрол Бентли поставила галочки почти по всем пунктам – французский поцелуй, половое сношение, оральный секс и всё прочее, от чего у меня перехватывало дыхание, даже если об этом просто говорили. Я преклонялась перед ней. В моем арсенале оказались лишь поцелуй (без языков) и петтинг, и я отметила кое-что, чего не делала, – например, французский поцелуй и половой акт. В старших классах я встречалась с двумя мальчиками (по очереди) и с обоими пыталась совершить половой акт. Но как мы ни пыхтели и ни терлись изо всех сил, ничего не получилось. Мое тело не воспринимало их и не пускало в себя. Несмотря на уверения доктора, у меня появился новый повод думать, что я не такая, как все.

Глава 8

В ожидании смысла

Подростки благоразумно прячутся за карикатуры, которые мы рисуем на них. И к несчастью как для них самих, так и для нас, слишком часто сохраняют карикатурные черты, которые они едва ли хотели в себе видеть.

Луиза Дж. Каплан, психолог

Несколько лет после окончания школы, прежде чем я стала актрисой, прошли без толку – в ожидании смысла. Болтают о моих диких выходках – будто бы я въехала на мотоцикле в бар, танцевала на столе стриптиз, устроила в общежитии пожар. Якобы в колледже Вассар, где к ужину полагалось являться в перчатках и жемчугах (что неправда), я поглумилась над традицией и спустилась в зал, не надев ничего, кроме перчаток и жемчуга. Это я-то! Признаться, мысленно я любила шокировать публику, но подобных наглых поступков, честное слово, никогда не совершала. Вне стен школы я вела себя совсем не так, как другие девочки. Они запросто созванивались с друзьями и ездили с ними смотреть кино, сидя в машине, танцевали с мальчиками босиком под быструю джазовую музыку у себя дома. Я ничего такого не делала. Лучи славы Генри Фонда падали и на меня, поэтому люди думали, что его дочь, которая живет в Нью-Йорке и, вероятно, надевает на себя маску приличий, гораздо более опытна и искушена, чем я была на самом деле.

Дабы компенсировать свою неполноценность и как-то выкрутиться на свиданиях и вечеринках, я перенимала чужие манеры, пытаюсь таким образом залатать прорехи в собственной индивидуальности. Дополнить эту тщательно вылепленную личность неповторимыми чертами именно моего характера я могла только в том случае, если мне с кем-то было комфортно, но в основном я выглядела и вела себя вполне стандартно и идеально вписывалась в заурядный, обывательский, удобный для восприятия мир пятидесятых.

Актёрство меня не привлекало. Я была слишком застенчива и ни разу ни от кого, тем более от моего отца, не слыхала, чтобы актерская игра приносила эмоциональное удовлетворение. Актерская игра не ассоциировалась у меня с *радостью*. Напротив, у меня выработалось такое представление об этой профессии: “Актеры чересчур эгоистичны. Мне и так хватает проблем. Я не хочу подогревать собственный эгоцентризм – это не для меня”. По правде говоря, я казалась себе толстой и неинтересной, к тому же до смерти боялась провала.

Летом, после того как я закончила школу, наша семья уехала в Европу, где папа снимался с Одри Хепбёрн в “Войне и мире”. Тем же летом Сьюзен решила, что она по горло сыта одиночеством в браке, и попросила у папы развода.

“Я не могла оставаться сама собой, – рассказывала она Говарду Тейхманну. – Я хотела поговорить с ним о наших трудностях, но он всё пропускал мимо ушей. Он умел уходить от ссор со мной... [Но если] его злость прорывалась, это был кошмар. В конце концов я осознала, что всегда боялась этого человека”. И в конце концов она поняла, что его застенчивость, которая поначалу была ей симпатична, – это куда более болезненная жесткость, которую ей не сломить, как ни старайся. Мне она говорила, что папа мог за целый день ни словечком с ней не перемолвиться, а ночью, просто на основании права мужчины, плюхнуться в кровать и ждать от нее любви.

“Я не машина, Джейн”, – грустно сказала она. Она умоляла его пойти вместе с ней к психотерапевту, но он отказался. Когда же она сама обратилась к психотерапевту (по поводу булимии), папа заявил, что ей придется оплатить лечение из своих средств.

Благодаря Сьюзен я поняла, что некоторые давно подмеченные мной свойства папиного характера – вовсе не моя выдумка и не моя вина. Эта женщина, в отличие от моей матери, не желала мириться с поверхностными, несерьезными отношениями, нашла в себе силы отказаться от них и уйти – не к другому мужчине, а *к себе самой*. Она была третьей папиной женой, но папа, как и всё его поколение, не был склонен ни к самоанализу, ни к психоанализу с помощью профессионального врача. В итоге менее чем через два года он снова женился – на итальянке, с которой познакомился на съемках в Риме. Этот четвертый его брак не продержался и четырех лет.

Сьюзен вошла в нашу жизнь, а теперь уходила. Но мы с Питером всегда будем благодарны ей за то, что она нам дала.

В 1955 году я поступила в колледж Вассар (потому что туда же поступала Кэрол Бентли) и следующее лето провела на мысе Кейп-Код, в Гианнис-Порт, вместе с Питером, папой и тетей Гарриет. Папа только что закончил сниматься в первой художественной ленте Сиднея Люмета “Двенадцать разгневанных мужчин” (этому режиссеру еще предстояло прославиться с фильмами “Серпико” и “Собачий полдень”). Снятый нами дом был расположен прямо за владениями семьи Кеннеди. Поскольку папа был знаком с Кеннеди, мы время от времени встречались. Они держались с королевским достоинством – замечание банальное, но абсолютно верное.

От нашего дома было удобно добираться на машине до кинотеатра “Деннис Плейхаус” с летними курсами, которые, как думал папа, могли бы заинтересовать меня – по крайней мере то, что касалось работы вне сцены и постановки спектаклей. Хотя в программу входили занятия по актерскому мастерству и даже была возможность получить маленькую роль в летнем передвижном театре, который приехал туда на гастроли, меня записали на курсы вовсе не для того, чтобы подтолкнуть к выбору актерской профессии. Папа ясно дал понять и мне, и Питеру, что добиться успеха на сцене или в кино очень и очень нелегко. Слишком многие из его знакомых закончили свою карьеру массовиками-затейниками на автомобильных выставках.

В первый день занятий нас представили помощнику режиссера Джеймсу Францискусу, которого все звали Гоем, и как только я увидела его, все оттенки лета поменялись. Он был светловолос, голубоглаз и красив как кинозвезда; вообще-то впоследствии он и стал своего рода звездой – играл в разных телесериалах, в частности в “Обнаженном городе” и “Мистере Новаке”, а также в тридцати с лишним фильмах. К тому же тогда он учился в Йеле на втором курсе. Я влюбилась без памяти. Мой прежний невразумительный флирт не дал мне опыта для настоящего романа, и я ужасно стеснялась при нем. Гой, как вскоре выяснилось, при своей внешности плейбоя тоже был застенчив.

Гой курировал курсы, поэтому у нас была масса возможностей для общения. Оказалось, что он тоже обратил на меня внимание. Мы много говорили. Я обнаружила, что Гоя было за что полюбить помимо его внешности и принадлежности к йельскому кругу – он был умен, много читал, у него было хорошее чувство юмора, он жил в Нью-Йорке, выглядел как выпускник дорогой частной школы (исключительно благодаря Йелю), но не входил в студенческое братство. Он был вынужден работать, так как родители не могли его содержать, не любил футбол и имел одно страстное увлечение. Другие молодые люди, которые мне нравились, тоже чем-то увлекались, но не страстно. Страстью Го я была эпическая драма – он писал ямбическим пентаметром. Его последнее произведение, примерно треть которого он мне прочел, звучало героически и глубокомысленно.

Наконец, незадолго до моего возвращения домой, в субботу, он спросил, нельзя ли пригласить меня завтра вечером на ужин, благо по воскресеньям не было вечерних спектаклей, которые требовали бы его присутствия. Он заехал за мной на стареньком красном “форде”

с откидным верхом – это я запомнила, но не запомнила ничего из того, что он говорил за ужином, равно как и самого ужина. О том, что произошло после, я всегда вспоминаю с волнением. Мы приехали на пирс, который находился рядом с нашим домом, на краю участка Кеннеди, дошли до его конца и стояли, любуясь закатом. Я не знала, что сказать, потому просто стояла молча. Сердце мое страшно колотилось, мне казалось, что Гой слышит его стук. Он обнял меня за плечи, повернул к себе и внимательно посмотрел в глаза. Взгляд его был таким долгим и пристальным, что я занервничала и попыталась отодвинуться, но он не пускал меня. Он держал меня крепко, а потом, всё так же глядя в глаза, медленно прижал к себе. Тело мое безвольно приникло к нему, колени подкосились, ему пришлось поддерживать меня, чтобы я не упала, и, целуя меня, он рассмеялся – явно от удовольствия. Когда наши губы разъединились, я отступила назад и вынуждена была сесть, буквально шлепнулась наземь. Всё закружилось – море, небо. *Небо!* Никогда не забуду ту картину. Небо стало совершенно другого цвета по сравнению с тем, что было две минуты назад, затянулось мерцающей дымкой. Мне вспомнилась строчка из Хемингуэя: “И земля поплыла”. Так вот что он имел в виду! Земля плывет.

Я впервые впала в экстаз, и хотя это случилось со мной не в последний раз, тот первый опыт был особенным – как и парень, который довел меня до такого состояния. Мы с Гоем стали всюду ходить парой. В то лето мы проводили вместе каждую свободную минуту. Мне было восемнадцать, ему двадцать, и по сравнению с современной молодежью того же возраста мы казались детьми. Мы подолгу целовались и украдкой ласкали друг друга при луне, но не занимались любовью, и мне было легко и приятно от того, что я получила отсрочку. Это было лучшее лето за всю мою жизнь.

Папа привез в Гианнис-Порт новую любовницу. Венецианка за тридцать с зелеными глазами и рыжими волосами обладала каким-то назойливым шармом, что у нас с Питером сразу вызвало недоверие. Мы, не сговариваясь, подумали: “Липа”. Поскольку обычно папа не представлял нас своим подругам до тех пор, пока не намечалась свадьба, мы поняли, что он на ней женится. Нам было ясно, что из нее не получится такой любящей и отзывчивой мачехи, как Сьюзен, но мы выросли, и это уже не имело такого значения, как прежде. По мере того как я становилась женщиной, мы с папой в определенных отношениях всё больше отдалялись друг от друга, а с появлением в его жизни итальянки разрыв увеличился. Однако я горячо любила его, и его влияние по-прежнему сильно сказывалось на мне.

Еще по меньшей мере год я пыталась лишиться девственности с тремя парнями по очереди, но ощущения глубокого проникновения не возникало – почти, но не совсем. Это как курить, но не затягиваться. Если ты пытаешься убедить себя в том, что твое половое развитие нормальное, технические детали весьма важны. Я отторгала свою задержавшуюся невинность порциями, и, как выразилась Кэрри Фишер в своей наполовину автобиографической книге, “ее пришлось вышибать тремя ударами вовсе не из-за огромных масштабов”. Скорее, мое тело говорило: “Прости, я пока не готово”. Я не говорю, что мы тогда занимались любовью, – это и не было любовью, и я тогда не понимала, как много для меня значит собственно любовь. Вот для Кэрол Бентли она ничего не значила – во всяком случае, сама Кэрол так утверждала. Впоследствии в разные годы я с восхищением и завистью слушала рассказы двух моих мужей об их первом опыте.

Вадим лишился девственности во Франции во время Второй мировой войны, испытав восторг на сеновале. Как он потом писал в своих “Мемуарах дьявола”, когда он кончил, потолок амбара “покачнулся. Земля задрожала... По небу прокатился апокалипсический рокот”. Сначала Вадим решил, что это эффект оргазма (и здесь Хемингуэй). Однако на деле оказалось, что его обесчестили “в один из величайших исторических моментов – в ночь на 6

июня 1944 года, когда в Нормандии высадился первый десант союзных войск”, – а амбар находился всего лишь в нескольких километрах от моря.

Что касается Теда Тёрнера, до девятнадцати лет у него не было секса, а когда это случилось, он ощутил такое просветление, что “через десять минут повторил”; эту историю он поведал мне на нашем втором свидании и неоднократно повторял в течение десяти лет, если еще не все в его окружении ее слышали.

Мне нечего рассказать о подобных поворотных моментах в моей жизни. Я просто не помню ничего такого. Знаю, что это случилось той осенью в Йеле с Гоем. Очень четко помню впечатления от первого раза, когда мы впервые провели наедине друг с другом целый уик-энд, пока бушевала буря, на маленькой ферме его родителей в окрестностях Нью-Йорка – весь дом был наш, и мы не боялись, что нас услышат, просыпались в одной постели, вместе принимали ванну, и он учил меня смешивать коктейль из виски с лимонным соком. Это я помню. А секс – нет.

Постоянный бойфренд, который сочиняет классические драмы, повысил мою самооценку. Я решила попросить в колледже отдельную комнату, желательно крошечную мансарду, где можно было бы без помех тешить свои экзистенциальные тревоги, декламировать Шекспира, слушать Моцарта и григорианские псалмы и до глубокой ночи читать Канта.

В середине пятидесятых большинство моих знакомых девушек посещали колледж не для того, чтобы получать знания в интересующей их области и развивать свои таланты, которыегодились бы им в профессиональной деятельности. Этим они занимались до тех пор, пока не высказывали замуж. Невесты разлетались одна за одной. Кэрол Бентли покинула колледж Вассара ради замужества на втором курсе, вслед за ней ушла и Брук Хейуорд. В те годы в Америке бытовало мнение, что нормальная девушка до окончания колледжа должна быть хотя бы помолвлена. Меня это не касалось. Я была счастлива, встречаясь с Гоем, но о свадьбе даже не помышляла. По крайней мере в этой сфере мне хватало ума понять, что, если сейчас мною завладеет один мужчина, я застряну в некоем чуждом для себя пространстве.

Однажды (я училась на втором курсе) мне позвонил директор частной школы Вестминстер, куда перешел Питер, и сказал, что Питер сошел с ума и я должна за ним приехать.

Я нашла его в каких-то кустах, с высветленными волосами. Он просил звать его Холде-ном Колфилдом, как героя повести Сэлинджера “Над пропастью во ржи”, которого выгнали из школы за отказ подстраиваться под царившие там лицемерие и фальшь. Я собрала Питера, но куда мне было везти его? “Домой” в Нью-Йорк, но папа в тот момент уехал, а одним нам в его доме жить не разрешалось. Со мной в Вассаре он не мог оставаться. Я решила позвонить в Омаху тете Гарриет. С ней и дядей Джеком Питер прожил четыре года.

Первым делом дядя с тетей обследовали его на предмет нормальности и выяснили, что он нуждается в помощи. Кроме того, они подумали, не имеет ли смысл оставить его на второй год; Питер показал IQ выше 160 – на уровне гениальности. Поэтому он начал курс психоанализа (с тестем финансиста Уоррена Буффало) и поступил в Университет штата Омаха. Питер был бунтарем-“притворщиком”. В книге “Не хочу об этом говорить” психотерапевт Терренс Рил называет таких мальчишек “маленькими мятежниками; они не желают бодро шагать к состоянию отчужденности – по-нашему, к возмужалости – и устраивают сидячую забастовку... У нас их обычно считают нарушителями порядка”. “Да он просто хочет привлечь к себе внимание”, – говорили люди о Питере, а я согласно кивала и думала: “Что ж вы не уделили ему немного внимания, в котором он так нуждается, и не дали любви, пока он не начал выделяться?”

Я тоже по-своему притворялась. Но гораздо охотнее участвовала в системе, чем Питер. Я никогда не подходила слишком близко к краю пропасти. Я умела играть в обе стороны, так чтобы не влипнуть по-настоящему, хотя иногда была к этому очень близка.

Кроме романа с Гоем, я мало что помню из двух моих последних лет в колледже. Я слишком много пила, мало училась вопреки благим намерениям, “экспериментировала со страстями”, подседала на декседрин, получала незаслуженно высокие баллы на экзаменах и не вдохновлялась лекциями. С годами я поняла, что формальный курс гуманитарных наук не побуждает меня к учебе. Я должна понимать, *зачем* я учусь, *какая цель* передо мной стоит, я должна испытывать *потребность* в учении, поскольку это ощутимо связано с моей жизнью, должна понимать, чем я *занимаюсь*. Последние лет двенадцать я работаю на благотворительной основе с молодыми людьми и их родителями, и мне необходимо понимать, почему люди ведут себя так или иначе и что заставляет их меняться. Поэтому я штудирую книги по психологии, теории отношений и поведения, о раннем детском развитии, изучаю мировой опыт и биографии женщин. Но в колледже Вассара я не понимала, *зачем* я учусь.

На последнем экзамене по истории музыки я изрисовала экзаменационные листы силуэтами кричащих женщин. Через несколько дней меня вызвали к декану, и я была абсолютно уверена, что меня отчислят. Но мне объяснили, что они понимают, какой трудный период я сейчас переживаю – мой отец недавно женился в очередной раз (на итальянке), – поэтому мне позволят пересдать экзамен. Ерунда какая-то. Папина женитьба вовсе не расстроила меня – к этому я уже привыкла, – и такой способ избежать проблем мне не нравился. Я хотела – и должна была – отвечать за свои поступки и справляться с трудностями. Тогда-то я и решила, что зря трачу свое время и отцовские деньги и что колледж надо бросить.

Я сообщила папе, что провалила сессию и не собираюсь осенью возвращаться в колледж, а потом вдруг заявила, что хочу учиться живописи в Париже. По правде говоря, я вовсе не была уверена в этом своем желании и втайне надеялась, что папа откажет мне и спасет меня от себя самой. Может, его сбила с толку новая жена. Может, они оба хотели, чтобы я поменьше им досаждала. Так или иначе, он меня отпустил.

На лето 1957 года папа снял виллу на французской Ривьере, недалеко от города Вильфранш, где по сей день сохранился милый стиль рыбацкого поселка. Это была большая вилла с великолепным садом перед домом, бассейном и лужайкой, простиравшейся до самого края скалы высотой не менее сотни футов над уровнем Средиземного моря. Светская жизнь бурлила всё лето – точнее, Афдера, папина жена, вела бурную светскую жизнь. Папа никогда не тяготел к многонациональным тусовкам. Трогательно было видеть, как он прячется за свою камеру, чтобы скрыть неприязнь, и старается подстроиться под общее веселье. Я обожала это его свойство.

Джанни и Марелла Аньелли, Жаклин де Риб, принцесса Марина Чиккония с братом Бино, граф и графиня Вольпи с сыном Джованни, сенатор Кеннеди с Джеки – звезды международной элиты сменяли друг друга. Ближайшую виллу арендовала Эльза Максвелл, известная всему миру “хозяйка гостиной”. Мы были в гостях у греческого корабельного магната Аристотеля Онассиса на его колоссальной яхте “Кристина”, где в салоне висел Пикассо, ванны были отделаны золотом, бассейн выложен мозаикой и красавицы с загадочным взглядом непринужденно беседовали с мужчинами, владельцами Пикассо. Мы посетили и студию Пикассо, расположенную по соседству. Встречались с Жаном Кокто, Эрнестом Хемингуэем и Чарли Чаплином.

Как-то раз приехала Грета Гарбо с подругой. Они обе, как положено, выпили с гостями, после чего удалились в дом и вышли уже в купальных халатах и шапочках для плавания, какие надевают профессиональные пловцы. Гарбо спросила меня, не хочу ли я искупаться с ней в море. Я приросла к месту. Грета Гарбо! Между прочим, она единственная из всех наших гостей выразила желание отвлечься от светских бесед и спуститься по выдолбленным в скалистом уступе ступеням к морю. Я сама сделала это всего несколько раз – идти далековато, да и вода была холодная. Но мы пошли вниз – Гарбо, ее компаньонка и я. Когда мы дошли до того места, где волны заливали скалы, Гарбо сбросила халат, продемонстриро-

вав *голое* тело спортсменки, залезла на самый дальний камень и безукоризненно выполнила прыжок – отнюдь не в моем любимом стиле “постепенного привыкания”, когда сначала в воду входят пальцы ног, а потом колени. “Она-то из Скандинавии”, – подумала я, вдохнула и прыгнула за ней следом – в купальнике, разумеется. Она энергично проплыла какую-то дистанцию, развернулась и поплыла обратно, встретившись со мной, когда я пыталась ее догнать. Мы зависли в воде, работая ногами и глядя друг на друга. На идеально чистом, сияющем лице Гарбо не было ни следа косметики.

Затем она спросила хрипловатым голосом *Ниночки*¹⁶:

– Вы собираетесь стать актрисой?

– Нет, – ответила я. – У меня нет таланта.

– Что вы, – сказала Гарбо. – Есть наверняка, и вы достаточно красивы для актрисы.

О Боже!

– Спасибо, – выговорила я, изрядно глотнув соленой воды, а в голове у меня вертелось: “Это обычная вежливость. Но минутку – человек, который сбежал с вечеринки, чтобы поплавать голышом, не станет говорить что-то просто из вежливости. Но с чего Гарбо взяла, что я красивая?”

Мы выбрались на камни обсохнуть на солнышке, и я заметила, что тело у нее крепкое и здоровое, но не идеал красоты. Это меня подбодрило – видимо, даже с небезупречной фигурой можно вызывать восхищение. Помню, как шла за Гретой Гарбо вверх к дому и пыталась сдерживать глупую улыбку, расплывавшуюся по моему лицу от уха до уха.

Вильфранш расположен у западной границы независимого карликового государства Монако, главой которого был принц Ренье со своей супругой Грейс Келли. В изгибе бухты Монте-Карло разместился курорт с казино, где испытывали судьбу богатые и знаменитые. Летом каждую субботу по вечерам устраивались грандиозные балы, и светская публика ела, пила шампанское и танцевала под звездами. Под конец запускали великолепные красочные фейерверки. Афдера пыталась свести меня с сынками богатых графов и промышленников; я думаю, она надеялась выдать меня замуж – и, возможно, спровадить из нью-йоркского дома, а заодно поднять свой престиж. В то время я и не думала о серьезных отношениях с молодыми людьми: как с хорошо обеспеченными бездельниками из бомонда, так и со школьными знакомыми из Лиги плюща. Мне нужен был человек, который дал бы мне нечто другое – не богатство, а страсть и активную жизнь. Мне нужен был мятежник, искатель приключений, оригинал.

Приехали на неделю Гой и его друг по Йелю, Хосе де Видуны. У элегантного испанца Хосе нашлись и свои дела на побережье, и знакомые, у которых он мог остановиться, а Гой поселился у нас на вилле, в одной из многочисленных гостевых комнат. Пока взрослые отдыхали в своих спальнях после обеда, нам удавалось уединиться в моей комнате. Я полюбила послеполуденный секс, мне нравилось безмятежно валяться под медленно вращающимся на потолке вентилятором. Холщовые тенты за огромными окнами отбрасывали длинные тени на холодный плиточный пол, шум вентилятора ассоциировался с наслаждением.

Как-то раз после обеда мы с Гоем и Хосе поехали на машине вдоль берега в Сен-Тропе, старинный рыбацкий городок цвета сепии. Мы добрались туда на закате, и я была очарована его красотой. Недавно вышедшая на экраны лента молодого режиссера Роже Вадима “И Бог создал женщину” с Брижит Бардо, женой Вадима, в главной роли привлекла туда туристов.

Примерно тогда же, летом, я поняла, что наш с Гоем роман идет на убыль. Я начала скучать. Гой как бы законсервировался, и я подумала, что классическая драма с ямбическим пентаметром символичны – он мог так и не преодолеть первый акт. Я слышала какой-то холодный шепоток у себя в душе, но боялась огорчить Го я и ничего ему не говорила. Мне

¹⁶ Имеется в виду кинофильм “Ниночка”, в котором Грета Гарбо сыграла главную роль.

было стыдно, что я делаю вид, словно ничего не происходит, хотя чувства мои изменились. Поступая таким образом, я заставила его страдать гораздо сильнее, когда наконец пришло время расставаться, и у меня вновь возникло знакомое ощущение, будто я изменяю самой себе. В следующем году Гой сделал мне предложение, я отказала, мы сочли невозможным для себя встречаться дальше как друзья, и мой первый настоящий роман, который длился полтора года, закончился плачевно.

В конце 1957 года папа и Афдера поехали вместе со мной в Париж и устроили меня на полный пансион в квартире на Правом берегу, на зеленой авеню Йена. Дочь одной из подруг Афдеры училась в пансионе для девушек из состоятельных семей и жила там же. Афдера хотела и меня записать в такой же пансион, где богатые девицы обучались светским манерам. Но я заартачилась и поступила в Академию де ла Гранд Шомьер, школу искусств на более богемном Левом берегу, чтобы учиться живописи и рисунку.

В Париже уже почти год жила и Сьюзен, моя бывшая мачеха, – приятно было иметь ее под боком. Но Сьюзен теперь жила своей жизнью, к тому же она, вероятно, полагала, что я в свои девятнадцать лет столь же разумна, какой была она в моем возрасте. Кое-какие признаки зрелости у меня наблюдались, но я еще не повзрослела окончательно, меня необходимо было направлять. Через меня всё просачивалось, как через дуршлаг, вливалось и выливалось – там не оставалось там¹⁷. Я слишком много на себя взяла, мне было одиноко и страшно. И вот я оказалась в чужом городе, в другой стране, никого не знаю, кроме Сьюзен, говорю с запинками на деревянном французском и не ведаю, куда податься.

Квартира, где я поселилась, принадлежала седовласой даме, некогда представительнице высших слоев буржуазии, о чем свидетельствовали элегантный интерьер, столовое серебро и фарфор, а теперь впавшей в скарденность. И она, и ее взрослая дочь, которая жила с ней, ходили с мрачным видом и одевались во всё черное. Они никогда не включали свет и не раздвигали шторы, с мебели в гостиной не снимали полиэтиленовых чехлов. Если бы не слабый кисловатый запах вареной репы, казалось, пропитавший ковры и портьеры, можно было бы подумать, что ты в морге.

Стыдно признаться, но за два с половиной месяца в Париже я лишь три раза посетила занятия. Я заявила, что хочу учиться живописи, только ради того, чтобы уйти из колледжа. Большую часть времени я проводила в уличных кафе за чтением книг и газет.

Париж меня покорила – модернистские входы в метро Гектора Гимара, причудливые и волнующие, как иллюстрации Максфилда Пэрриша, плакучие ивы и платаны вдоль берегов Сены, прогулочные катера, которые сновали вверх и вниз по реке под низкими нарядными чугунными мостами, серо-бежевые каменные здания на набережных с мансардами и покатыми шиферными крышами, поделенные на кварталы узкими, мощенными булыжником улочками. Мне нравилось, что всюду веяло историей. Это напоминало мне о том, как еще молода моя родная страна.

Как-то вечером я с несколькими знакомыми, среди которых были французская актриса Мари-Жозе Нат и актер Кристиан Маркан, пошла поужинать и потанцевать в ресторан “Максим”. К нам подошел высокий брюнет с необычным для француза разрезом глаз, и в нашей компании сразу повеяло эротикой. С ним была очень красивая женщина, похоже, на девятом месяце. При его появлении весь ресторан всколыхнулся, подобно тому как это было, когда мы с папой посещали публичные места. Так я впервые встретила с Роже Вадимом.

Он проснулся знаменитым после премьеры фильма “И Бог создал женщину”, который благодаря молодости режиссера (ему не исполнилось тогда и тридцати) и дерзкому, иконоборческому духу сочли началом новой волны (*nouvelle vague*) во французском кино. Но пуб-

¹⁷ *No there there* – там нет там; there is no there there – фраза из книги Гертруды Стайн “Автобиография каждого”.

лика, особенно в США, валом валила в кинотеатры, прежде всего ради сногшибательной Брижит Бардо.

Я еще не знала, что Вадим и Бардо разошлись. Кажется, она была влюблена в исполнителя главной роли в фильме, а Вадим якобы закрутил с Аннет Стройберг, блондинкой из Дании, которая тоже вскоре забеременела своим первенцем и тоже снялась в главной роли у Вадима. Тогда они были не женаты, что меня слегка шокировало. Я не привыкла к французскому “обычаю” сначала рожать, а потом, может быть, играть свадьбу. Рядом с Вадимом мне стало страшно и как-то неуютно, я казалась себе простушкой, тупой американкой. Впоследствии он признался, что так про меня и подумал. Мне было невдомек, сколь важную роль эти люди еще сыграют в моей жизни.

Сьюзен иногда приглашала меня в свою компанию, и однажды мы отправились потанцевать после ужина в шумный ночной клуб “Белый слон”. Ее несколько раз приглашал какой-то мужчина, который, по ее мнению, танцевал лучше всех ее партнеров; приятно было смотреть, как они кружились и скользили по танцполу, точно Джинджер и Фред. Он оказался итальянским графом лет тридцати с лишним, плейбоем из обедневшей семьи, вынужденным работать в американской брокерской компании в Париже. Он явно был своим в парижском свете и любил хорошо отдохнуть. И когда он позвал меня танцевать, я пошла. Я приняла его за приятеля Сьюзен и наделила теми качествами, которыми он не обладал. Кроме того, я была одна, а благодаря ему почувствовала себя более причастной к общему веселью. Меня не особенно влекло к нему, но, когда он пригласил меня на выходные в его загородный дом, я не смогла отказать. Мне не пришло в голову просто ответить: “Мне очень весело с вами, но заводить с вами роман я не собираюсь, поэтому откажусь от вашего предложения”. Я не знала, чего он хотел, однако согласилась.

А он хотел, помимо флирта, сфотографировать меня обнаженной. С трудом могу объяснить сама себе, почему даже не подумала возразить, хотя это мне совсем не нравилось. Как ни тяжело мне об этом писать, но я выполнила его просьбу – пусть читатели, особенно читательницы, знают, что самая умная и хорошая девушка способна на необъяснимые поступки, если она себя недооценивает и считает, что женщина должна “уступать”. Если бы я могла сказать, что больше ничего подобного в моей жизни не было! Наша недолгая связь вызывала у меня отвращение. Больше всего я ненавидела себя за предательство по отношению к своему телу, мне самой было непонятно, зачем я на это пошла. Его фотографии ни в коей мере не были порнографическими – напротив, довольно эстетичными и сдержанными. Думаю, его вдохновлял тот факт, что ему удалось уговорить девятнадцатилетнюю дочь Генри Фонды позировать ему голой. Он не замедлил оповестить весь мир о своей гнусной победе. Афдера с ее острым на сплетни нюхом доложила обо всем моему отцу, и когда я приехала на Рождество домой, он велел ей передать мне, что в Париж я не вернусь. Я чувствовала себя униженной, перепугалась, но вместе с тем мне стало легче. Возвращаться я не хотела. Мне казалось, что моя жизнь пошла наперекосяк.

Следующие полгода я провела в Нью-Йорке, в папином доме. Он играл на Бродвее в спектакле “Двое на качелях”, что не доставляло ему удовольствия. Слава богу, о моей фотосессии он со мной не заговаривал. Наверно, он испытывал неловкость и наверняка решил, что я стала “дурной девкой”. Но это было не так.

Я не понимала, как мне дальше жить. Я погрузилась в депрессию, снова начала спать по двенадцать-тринадцать часов в день, могла задремать даже на свидании и в театре, словно в приступах нарколепсии. Думаю, отчасти таким образом проявлялось глубокое экзистенциальное огорчение из-за отсутствия смысла жизни, томительного ожидания, когда же раскроется мое подлинное “я”, если оно вообще было.

Потом наступило лето, и папа отвез нас в Санта-Монику; оттуда была примерно миля до Оушн-Хаус, где мы когда-то проводили лето. Через Афдеру я узнала, что мне предстоит

осенью подыскать себе собственное жилье и начать содержать себя самой. Для моих двадцати лет – вполне резонное требование, но я понятия не имела, что буду делать, и запаниковала.

Несколько лет назад Хосе (друг Гоя, испанец, позже – мой любовник) вернул мне письма, которые я писала ему по-французски тем летом из Малибу, и по их содержанию можно судить о состоянии моей души:

Любимый, я страшно подавлена, не вижу никакого смысла в дальнейшем; в конце концов, зачем бороться, если жизнь всё время вставляет палки в колеса и разлучает нас с теми, кто нам дорог, чтобы мы стали совсем несчастны. В такие моменты я начинаю горевать безо всякой видимой причины, мне кажется, что счастья и успеха в жизни не будет уже никогда. Что делать, не знаю. Я ничего не соображаю, словно после наркотика. Афдера (папина четвертая жена) повторяет вслед за ним, что я “их ужасно разочаровала”, что я “ленивая”, “легкомысленная”, “слабая” и т. д. Вряд ли я такая уж плохая, но, может, она и права. У меня есть всё, а я не делаю ничего. Есть рояль, но я не умею играть. Есть итальянские книги, но я не умею читать. Не умею рисовать. Меня вообще ничего не интересует, и, видимо, такой и останусь на всю жизнь!

И позднее в другом письме:

Афдера чуть ли не заявила мне, что больше не намерена оставаться с моим отцом, что у их брака “нет будущего” и ей кажется, что с Лорен Бэколл ему будет лучше. Мне тоже так кажется, и я думаю, ей надо немедленно уйти, чтобы могла приехать мисс Бэколл.

Многие молодые люди страдают от такой же беспросветной тоски и опустошенности, не зная, как распорядиться своей жизнью. Все мы хотим видеть перед собой цель, которая придает смысл нашей жизни. Если ее нет, мы начинаем винить себя, считаем себя чем-то вроде мусора, который запросто можно выбросить на помойку. Мое чувство одиночества и отчуждения выливалось в сонливость, булимия, заурядность в поведении. Другие пытаются убежать от действительности с помощью наркотиков, эпатажа, алкоголя и сверхбыстрой езды на машине, чтобы убедиться в собственном существовании – иначе они не ощущают своего “я”.

Но где-то в середине лета, когда всё выглядело совсем безнадежно, счастливый случай наставил меня на путь истинный. Всегда надо быть готовым к случайностям – как говорит Билл Мойерз, “Бог использует случайные стечения обстоятельств, чтобы оставаться инкогнито”.

Глава 9

Переломный момент

Способность творить – это величайший дар, который приближает нас к божественному. Когда ты творишь, то живешь не ради себя, а ради чего-то внешнего, цвета становятся сочнее, звуки – ярче, ты чувствуешь прилив энергии; для сценической работы это сильнодействующий фактор.

Трой Гэрити, мой сын, актер

Пока я прошла недолгий путь по пляжу Санта-Моники до того места, где он жил, летняя гроза унеслась на запад; туфли я несла в руках, решительно подставив лицо ветру и убеждая себя, что мне всё равно, примет он меня или нет. В любом случае я не собираюсь становиться актрисой. Однако, когда я приблизилась к задней двери его дома, отряхнула ноги от песка и надела тщательно подобранные к платью туфли на высоких каблуках, в которых ноги должны были казаться красивее, сердце мое бешено пульсировало в глотке.

Я глубоко вдохнула, постучала в дверь и стала ждать, прислушиваясь к биению своего сердца. Наконец дверь открыл невысокий мужчина в очках, с необыкновенно высоким лбом, обрамленным седыми волосами. Говоря отрывисто и немного в нос, не глядя на меня и не представившись, будто оторвался от важных дел, он впустил меня и предложил присесть в гостиной. У него был какой-то незнакомый мне акцент – нью-йоркского еврея средних лет из Нижнего Ист-Сайда, но тогда я этого не поняла. До меня дошло, что это и есть тот самый Ли Страсберг, к которому я шла на собеседование. Он походил скорее на раввина или зубного врача, нежели на прославленного педагога по актерскому мастерству. Вид у него был недовольный – наверное, сердится, подумала я. Мне редко доводилось общаться с людьми, не соблюдавшими светские правила приличия, хотя позже я оценила это его качество – никаких фальшивых любезностей. Ему можно было доверять. Он говорил то, что хотел.

Он сел, посмотрел на меня и произнес: “Итак...” Последовавшую паузу прервал странный звук – он резко выдохнул через носоглотку. В фильме “Крестный отец II” он весьма эффектно проделал тот же фокус в сцене с Аль Пачино. Холодный взгляд его глаз, чудовищно огромных за толстыми стеклами очков, парализовал меня. Затем я почувствовала, как его отпустило и в душе что-то смягчилось. Возможно, он заметил, до какой степени я напугана. Как он сказал мне несколько месяцев спустя, я так отчаянно старалась выглядеть воспитанной, приличной барышней, что буквально впала в ступор. Я спросила, почему же он меня всё-таки принял на курсы, и он ответил: “Твои глаза. Что-то такое было в твоих глазах”.

Еще раньше, тем же летом, мне довелось познакомиться с его дочерью Сьюзен. Она, ее брат Джонни, примерно того же возраста, что и Питер, и протеже Ли по имени Марти Фрид часто бывали в доме на берегу моря, который снимал мой папа. У Сьюзен Страсберг было маленькое личико с правильными чертами и сияющая, словно цветы магнолии, кожа; она имела огромный успех на Бродвее в спектакле “Дневник Анны Франк”, а годом раньше составила дуэт с моим отцом в фильме Сидни Люмета “Очарованная сценой”. Мне она казалась опытной и чрезвычайно уверенной в себе.

В течение месяца с лишним, день за днем, играя с ней и Марти в шахматы, я отбивалась от их попыток привлечь меня к частным занятиям с ее отцом. “Почему бы не попробовать?” – приставали они. Я упорно отвечала, что не хочу быть актрисой, однако впереди у меня маячил непростой вопрос – что делать осенью. И в конце концов я неохотно сдалась. Я стала актрисой за неимением других вариантов!

Ли Страсберг известен как автор и пропагандист особого метода, основанного на системе Станиславского. Это была даже не строгая теория, а исключительно американская адаптация его учения, которое Ли, сам прежде актер и режиссер, а позже – преподаватель актерского мастерства, дополнил многими собственными тезисами. В 1949 году, через два года после того, как Элиа Казан, Шерил Кроуфорд и Роберт Льюис основали свою Актерскую студию, Ли пригласили туда работать, и вскоре он стал художественным руководителем Студии и единственным педагогом по актерскому мастерству. Среди его воспитанников были многие знаменитые актеры и актрисы того времени – Джеймс Дин, Пол Ньюман, Джоан Вудворд, Энн Бэнкрофт, Джеральдин Пейдж, Аль Пачино, Джули Харрис, Рип Торн, Бен Газзара, Салли Филд. Они играли с новым, невиданным доселе реализмом, вкладывали в свои роли больше личного и сокровенного, чем могла воспринять основная масса театралов. Они не *изображали* – они *были*.

Меня приняли на частные курсы Ли Страсберга – ступенью ниже Актерской студии и вместе с тем на ступеньку ближе к кружку одного из лучших театральных педагогов в стране. Всё это стало возможным благодаря тому, что Пола Страсберг, супруга Ли, занималась с Мэрилин Монро, а та играла в голливудском фильме “В джазе только девушки”. Так семья Страсбергов попала в Голливуд и поселилась на побережье недалеко от нас. Это случайное стечение обстоятельств изменило мою жизнь.

Помню, как мы со Сьюзен Страсберг пришли к ее матери на съемку ленты “В джазе только девушки”. Девочкой я не раз бывала на съемках у отца, но взрослой оказалась на киностудии впервые – и постаралась ничего не упустить. Как только за нами с глухим стуком захлопнулась тяжелая, обитая мягким материалом двустворчатая дверь киносъемочного павильона, я будто перенеслась в другой мир, неведомый и таинственный, – мой сын, тоже актер, называет его “цивилизацией внутри цивилизации”. Съемочная площадка – не самая комфортная среда для постороннего человека. В таких случаях всегда чувствуешь себя лишней, не посвященной в тайну, позволяющую проникнуть в это огромное, загадочное помещение с мягкой обивкой на стенах и таким высоченным потолком, что разглядеть его можно, лишь запрокинув голову. В самом его центре – круг света, средоточие энергии, хранилище тайны. На черном полу змеями извиваются кабели, поднимаются в гигантские короба на шестах – к “солнечным” прожекторам, силуэты которых вырисовываются в ореоле сияния, словно спины стражей. У всех, кроме тебя, есть связанная с этим светом работа. Все говорят полупшепотом, кажется, что приглушенные голоса зависают перед лицами. Люди вежливы, но ты чувствуешь, как невидимые канаты тянут их от тебя к этому месту. Пронзительно взывает сирена. Ты подскакиваешь, оборачиваешься и видишь вертящийся над двойной дверью красный фонарь, как на полицейской машине. “Тихо!” – раздается чей-то крик. После слышен только шепот. Еще возглас: “Камера!” Потом: “Внимание, начали!” – и световой вакуум поглощает все звуки и энергию.

Тот съемочный день выдался страшно напряженным и волнительным как из-за большого скопления ярких кинозвезд – Мэрилин, Тони Кёртиса, Джека Леммона и режиссера Билли Уайлдера, – так и из-за того, что Мэрилин Монро всё время забывала слова и приходилось делать много дублей. Снимали самое начало фильма, когда она едет в поезде, в спальном вагоне, с переодетыми в женские платья Тони Кёртисом и Джеком Леммоном.

Сьюзен Страсберг молча указала своей маме на меня. Пола сидела в складном матерчатом кресле позади камеры и внимательно следила за событиями в круге света. Пола Страсберг была большой женщиной. Всё в ней было большим – глаза, лицо с высокими скулами, тело в свободном черном платье, шаль песочно-бежевых тонов и этнические украшения. Так и хотелось залезть на ее широкие колени и прижаться к широкой груди. За толстыми стеклами очков глаза казались большими, как у совы, светло-рыжие волосы, заплетенные в косы, собраны на затылке в пучок. Когда-то она, очевидно, была красавицей, как ее дочь Сьюзен.

Казалось, дальше не дышать было бы уже невозможно, но тут чей-то голос выкрикнул: “Стоп!” Люди вдруг активно зашевелились, вышли из темноты, приступили к выполнению своих обязанностей в круге света, предписанных регламентом киносъемки. Затем в темноту шагнула Мэрилин Монро, унося свет на поблескивающих волосах и коже. Вместе с Полой она подошла к нам, кто-то накинул ей на плечи розовый махровый халат – прикрыть ее полупрозрачную ночную сорочку. Ее тело как бы предшествовало ей, и я с трудом удерживалась от того, чтобы не пялиться на нее. Но, взглянув на ее лицо, я увидела большеглазое, испуганное дитя. Поразительно! Никак не верилось, что прямо передо мной – она, в золотистом радужном сиянии, здороваается со мной и говорит с придыханием, голосом маленькой девочки. Я сразу полюбила ее за эту незащищенность и обрадовалась, что у нее есть такая большая добрая няня – Пола. Она была очень любезна со мной и Сьюзен, но, безусловно, претендовала на неразделенное внимание Полы – без нее она не сумела бы вернуться и еще раз проиграть эпизод. Я не понимала, как чуть ли не самая знаменитая женщина в мире может выглядеть такой перепуганной. Мы поболтали там еще немного, поздоровались с Билли Уайлдером, которого я знала в детстве, и с Джеком Леммоном, с которым я встречалась на той же киностудии, когда он снимался с моим отцом в “Мистере Робертсе”. Потом мы вышли из сумрака на слепящий солнечный свет в ту цивилизацию, которая была реальностью. Но впервые я оставила частицу себя в том световом круге посреди темного пространства, за двойной дверью с мягкой обивкой.

Всё это произошло незадолго до моего визита к Ли и задолго до того, как я сама ступила в круг света и вынуждена была бороться со страхами, которые не в силах унять даже кинозвезды.

Месяца через полтора папа привел меня на открытую съемочную площадку студии “Уорнер Бразерс”, чтобы обсудить с Джимми Стюартом, не взять ли меня на роль его дочери в фильме “История ФБР”. Эта мысль пришла в голову режиссеру, Мервину Лерою, а поскольку Джимми был лучшим папиным другом, думаю, папа не видел вреда в почти семейном предприятии. По той же причине меня эта идея не привлекала ни в малейшей степени: это навевало неприятные мысли о “папиных дочках”, и милейшему Джимми мой скепсис передался в достаточной степени, чтобы стало ясно – дальше первого разговора дело не пойдет. Однако в свете моих разборок с ФБР в последующие годы забавно получилось бы, начини я свой путь в кино с роли в “Истории ФБР”.

Итак, Ли Страсберг принял меня в свою нью-йоркскую частную школу, и проблема моей занятости с осени была улажена. Оставалось решить, где я буду жить и как платить за учебу. По счастливой случайности, Сьюзен Стейн, младшая дочь Жюля и Дорис Стейнов, сестра Джин (Стейн) Ванден Хейвел, закончила колледж Вассара и искала напарницу, чтобы снимать квартиру в Нью-Йорке.

Сьюзен Стейн посоветовала мне обратиться к Эйлин Форд, главе известного модельного агентства. Я могла бы подрабатывать моделью и платить за обучение и квартиру. Я вернулась в город и через два месяца начала заниматься у Ли, подписала первый контракт в модельном агентстве, подыскала двухуровневую квартиру для двоих на Восточной Семьдесят шестой улице и, к вящей радости Афдеры, съехала из папиного дома. Я шла своим путем, просто плыла по течению – по крайней мере, куда-то двигалась, пусть и без четкой цели.

Работа модели, благодаря которой я могла платить за курсы, оказалась нелегкой. Мне не нравилось постоянно думать о том, как я выгляжу, к тому же из-за своих толстых щек я считала себя не слишком фотогеничной, но довольно быстро нашла врача, который выпи-сывал мне декседрин и мочегонные препараты, отчего я без конца бегала в туалет и избавляла свой организм от жидкости. Мой вес и раньше не дотягивал до нормы – 120 фунтов при

росте 5 футов и 8 дюймов¹⁸, – а стал ниже 110 фунтов¹⁹. Лицо мое, в 1959 и 1960 годах не сходившее со страниц многих модных журналов (*Life, Esquire, Harper's Bazaar, Look, Vogue и Ladie's Home Journal*), выглядело изнуренным, глаза – пустыми. Но я не простаивала без заказов. Когда на уличных стендах появлялись свежие журналы с моим лицом на обложках, я, никем не узнанная, наблюдала за реакцией прохожих на мои фото. Эйлин Форд, в чьем агентстве я работала, однажды сказала обо мне: “Она была не похожа на других. Ужасно волновалась из-за своей внешности и мнения других людей. Когда ей предлагали работу и хороший гонорар, она искренне удивлялась”.

Занятия проходили в центре города, в ничем не выдающемся здании на Бродвее. Мы поднимались на стареньком тесном лифте на шестой этаж в небольшой театр с авансценой и зрительным залом примерно на сорок мест. Помните, как в детстве вы впервые шли в новую школу, озираясь и пытаясь угадать, где вы окажетесь своим, а где чужим? Так вот, мне стало ясно, что я белая ворона – чистюля, дилетантка из высшего сословия, у которой на лбу написано: “Не знаю, хочу ли остаться с вами, пока только попробую”. Остальные, как и подобает богеме, всем своим слегка неряшливым видом как бы заявляли: “Мы нью-йоркские актеры, профессионалы и занимаемся своим делом, нравится вам это или нет”. Я одевалась довольно элегантно, а моя речь с характерными для выпускницы элитарного университета интонациями мне самой казалась чересчур напыщенной. Все знали, что Генри Фонда – мой отец, и я ловила на себе косые взгляды – хотя, возможно, это была просто мнительность.

Время от времени появлялись известные лица – например Франс Нгуен, которая играла на Бродвее в спектакле “Мир Сьюзи Вонг”, или Кэррол Бейкер, которую прославила ее сексапильная героиня из фильма Элии Казана “Куколка”.

Посещала курсы и Мэрилин Монро, самая звездная ученица Ли Страсберга; она тихонько сидела на галерке, в плаще, с шарфом на голове и очень серьезным видом. В течение месяца дважды в неделю я садилась позади нее и пыталась понять, что происходит, очень надеясь, что Ли не обратит на меня внимания. Я точно не собиралась идти в актрисы и вовсе не была уверена в том, что вообще здесь останусь. Мне рассказывали, что Мэрилин Монро не способна была ничего изобразить в классе. Все ее попытки заканчивались приступами тошноты от страха. Однажды после занятий я вышла вслед за ней на улицу. Она ловила такси, а я, стоя в сторонке, наблюдала за тем, как она уехала, не обратив на себя ничего внимания. Я видела ее в кинохрониках, в центре всеобщего внимания, в окружении поклонников и папарацци – удивительно, как она, кумир восхищенной публики, совершила столь резкое перевоплощение и стояла теперь с тревожным видом, совсем одна на нью-йоркской улице, никем не узнанная.

Несколько лет назад ее агент по рекламе (который работал и со мной тоже), рассказал мне, как однажды перспектива выйти из номера и предстать перед журналистами в отеле привела Мэрилин в такой ужас, что ее рвало без остановки. Ее бросало из крайности в крайность – то она считала себя не просто звездой, а “небесным светилом”, то волновалась: “Вот сейчас все поймут, что я просто самозванка”. Как я хотела бы взять ее за руку!

Первое из двух еженедельных занятий было посвящено тренировке так называемой “чувственной памяти”. Один или двое студентов должны были воссоздать впечатления, которые возникают в той или иной ситуации, попытаться воспроизвести конкретные чувства – запахи, ощущения, звуки. В отличие от пантомимы, где в точности изображают какую-то деятельность без театрального реквизита, здесь требуется время, чтобы действительно ощутить тепло и вес чашки в руках, а затем почувствовать на губах горячий кофе. Этим воспро-

¹⁸ Примерно 170 см.

¹⁹ 120 фунтов = 54,5 кг; 110 фунтов = 50 кг.

изведение действия отличается от *воспроизведения чувств*. Ваша цель – сконцентрироваться и добиться более глубокого осознания чувств. После того как задание было выполнено, его разбирали – сначала Ли, затем все остальные.

Затем мы “пели” – один из учащихся выходил на середину сцены и запевал на одной ноте, стараясь как можно дольше тянуть каждое слово. Каким-то образом такое протяжное выпевание одной ноты на одном вдохе помогало раскрыться чувствам и играть голосом, словно на струнах арфы. Если голос начинал вибрировать, а лицо и тело – дрожать, Ли, как всегда, спокойно, немного в нос, подбадривал ученика, чтобы тот продолжал и постарался расслабить те или иные зоны лица и тела. В этом упражнении актер учился контролировать себя и расслабляться, что помогает доиграть эпизод, даже если тебя захлестывают чересчур сильные эмоции.

После этой части упражнения все пели, хаотически перемещаясь по сцене, безвольно дергаясь, подскакивая и размахивая руками.

Всё это было весьма увлекательно, но тогда я не понимала, в чем смысл таких занятий. Я знала, что папа крайне отрицательно относился к актерским курсам вообще и к методу Ли Страсберга в частности. Он считал, что научить актерскому искусству нельзя, а метод Ли – вздор, потакание прихотям бездарей, которые считают себя многогранными, серьезными мастерами. Сидя в аудитории, я думала: может, он и прав. Всё это выглядело довольно смешно.

Второе (и последнее за неделю) занятие посвящалось сцене; двое учащихся разыгрывали эпизод на выбранную ими тему, а Ли высказывал свои замечания. Я смотрела на очень талантливых, как мне казалось, актеров и актрис – на Лэйн Брэдбери, Элли Вуд, Лу Антонио и других, чьих имен я не помню. У многих были маленькие роли во второстепенных театрах и телевизионных шоу. Кто-то подрабатывал официантом, кто-то – как я, моделью. Поразительно, как Ли умел акцентировать внимание на любых деталях, которые требовали отработки. Иногда актерам было с ним легко, иногда он бывал груб и нетерпелив. Очевидно, кое-кто из его учеников посещал студию не один год, ему были известны все их сильные и слабые стороны, и, если они не прогрессировали в работе, он терялся. Меня больше всего страшила мысль о том, как Ли будет критиковать меня перед всей группой. Хуже того – иногда он предлагал учащимся прокомментировать выступление товарищей.

Прежде чем покинуть курсы, я должна была хотя бы попытаться освоить метод чувственной памяти; я выбрала себе тему – выпить стакан апельсинового сока. Тогда я еще жила с папой. Каждый вечер, если моя работа в фотостудии не затягивалась допоздна, я выжимала дома стакан апельсинового сока, усаживалась с ним в библиотеке и изо всех сил старалась сосредоточиться на нюансах чувственного восприятия.

Как-то раз папа, придя домой, застал меня за этим занятием и спросил:

– Джейн, что это ты делаешь?

– Тренирую чувственную память к уроку в студии, – ответила я и содрогнулась, так как понимала, что за этим последует.

Он посмотрел на меня с нескрываемым презрением, покачал головой и удалился, пробормотав себе под нос:

– Боже святой!

Но я упорно продолжала свое дело. Упорство – наш семейный девиз.

Отзанимавшись на курсах полтора месяца, я наконец сказала Ли Страсбергу, что готова к первому испытанию. На следующей неделе он меня вызвал. Никогда еще я так сильно не волновалась, как в тот день, сидя на стуле посреди сцены. Мне казалось, что пришло гораздо больше народу, чем обычно, – очевидно, чтобы насладиться зрелищем моего провала. Однако я начала – обхватила пальцами воображаемый стакан холодного апельсинового сока, закрыла глаза и вскоре поняла, что осталась одна в мире чувств; нервные окончания в

моих пальцах ощутили холод. Я открыла глаза, медленно подняла стакан, как бы взвешивая его в руке, поднесла стакан ко рту, и вкусовые рецепторы на языке активизировались в предвкушении кисло-сладкой влаги. Впервые я испытала чувство, знакомое только актерам, – я понимала, что стою на сцене перед зрителями и что-то изображаю, и вместе с тем в тот момент я была одна на целом свете.

Следующее мгновение стало самым важным в моей жизни до того дня.

Ли молча смотрел на меня. Потом тихо произнес: “Джейн, я повидал на этой сцене немало людей, но у тебя настоящий талант”.

Я чуть не рехнулась; вокруг замелькали бабочки, зал залило светом. Ли Страсберг сказал, что у меня талант. Он не мой отец и не работает на моего отца. Он наблюдает за актерами каждый день с утра до вечера. Он мог бы этого не говорить. Он точно не из “вежливых”.

Хотя тогда я не поняла, почему это так подействовало на меня, в тот миг жизнь моя резко повернула в другое русло. Когда я вышла на улицу, город показался мне совсем другим, словно теперь мне принадлежала какая-то его часть. Я легла спать с сильным сердцебиением, а наутро уже точно знала, зачем живу и чем хочу заниматься. Ничто не доставляет такого удовлетворения, как возможность заработать на жизнь любимым делом, – разве что еще способность к любви. Мне всего-то и надо было, чтобы меня похвалил профессионал, которого ничто не обязывало это сделать.

Я, по своему обыкновению, сразу взяла быка за рога. Стала посещать занятия не два раза в неделю, как это было принято, а четыре. Готовила не одну сценку каждые несколько месяцев, а две. Не уверена, что я полностью постигла Метод, и, честно говоря, не понимала, как применить его на практике, в настоящем театре. Но курсы дали мне уверенность в себе, которой мне катастрофически не хватало. Кое-кто, я знаю, объяснял мой неожиданный успех тем, что я дочь Генри Фонды. В такие минуты надо было найти силы сказать себе: “Я упорно занимаюсь, чтобы выработать хоть какие-то навыки. Я не дилетантка. Я не принимаю это как должное”.

Папа, прежде чем вышел на бродвейскую сцену и начал получать главные роли в кино, много играл в летних передвижных театрах. Они стали его университетами, там он смог научиться актерскому мастерству. В конце пятидесятых, когда я приобщилась к этой профессии, конкуренция была гораздо более острая, многие актеры искали работу, и на меня, дочь Генри Фонды, поглядывали ревниво, мне труднее было скрыть от критиков свои неудачи и ошибки. Моей племяннице Бриджет Фонде и моему сыну Трою Гэрити приходится еще труднее. Нельзя научиться *таланту*, но можно освоить профессиональные приемы, которые помогают проявить актерский талант в условиях жесткой конкуренции. Напрасно папа думал, что курсы не нужны, – для меня, во всяком случае, они были полезны. Много лет спустя Трой учился в нью-йоркском отделении Американской академии театрального искусства, и он говорит, что это спасло его, так же как меня когда-то спас Ли Страсберг.

Меня с детских лет приучили не давать воли чувствам, у моего отца сильные эмоции вызывали отвращение, и я не привыкла к людям, которые открыто проявляли свои чувства, даже если рисковали показаться смешными. Поэтому занятия с Ли стали для меня откровением, бальзамом на душу. Салли Филд очень точно сформулировала роль актерской игры в жизни таких девушек, как мы, выросших в пятидесятые годы: “Думаю, это позволяло мне выразить все свои эмоции допустимыми средствами и избежать ответственности за это”. На сцене я могла проверить новые для себя состояния – печаль, злость, радость – без опаски показать их публике. Я чувствовала, что меня ценят не за приятную внешность “хорошей девочки”, а за всё, что во мне есть. Я была невероятно счастлива.

Ли привнес на свои курсы и в Актерскую студию, куда я ходила на прослушивание и поступила следующей осенью, еще один ключевой элемент – представление о театре как о великом искусстве. Актерская студия, которая выросла из нью-йоркского “Группового

театра”, продолжала традиции коллективного творчества актеров, направленного на достижение высокого уровня реалистичности и правдивости.

Ли читал запоем, стены его большой, но скромно обставленной квартиры на улице Сентрал-Парк-Уэст были с потолка до пола заставлены книжными стеллажами. Мы с удовольствием приходили к нему в гости – пили на кухне чай из стаканов с подстаканниками и говорили о театре. Для меня кухонные посиделки с долгими спорами и возможностью высказать свое мнение были внове. Пригрели в этом очаге культуры и еще одну неприкаянную душу – Мэрилин Монро.

Я не сомневалась в том, что актерскому мастерству надо учиться по методу Ли, и чем очевиднее мне это становилось, тем лучше я понимала, почему папа отвергал его. Музыканты самовыражаются с помощью музыкальных инструментов. Художники уединяются на какое-то время, берут кисть и краски и выражают себя на холсте. У актеров, особенно театральных, которые творят не в одиночестве, а перед зрителем, вместо холста и музыкальных инструментов – их *собственное бытие*. Нет никакой гарантии, что твое бытие будет готово выразить себя во всей полноте в любой момент, по первому зову. Подобные ощущения испытывает только бейсболист, который готовится выполнить решающий удар по мячу в самом конце игры (я поняла это гораздо позже, когда вместе с Тедом Тёрнером болела за команду “Атланта Брейвз”). Всё зависит только от него, к нему приковано внимание всего мира – справится или нет? Кроме того, и для спортсменов, и для актеров жизненно важно еще одно условие – умение оставаться спокойным.

Ли Страсберг однажды сказал: “Напряженность – профессиональное заболевание актеров”. Я с интересом наблюдала за второразрядными бейсболистами – как они после трех неудач с руганью отправляются на скамейку запасных, огорченно качают головой, кое-кто со всей силы бьет битой о землю. Сильные игроки – такие как Чиппер Джонс и Грег Мэддакс, – напротив, уходят с невозмутимым видом, словно всё идет по плану. Они научились сохранять физическое и душевное спокойствие. Если вы не сможете действовать спокойно, у вас ничего не получится – ни в спорте, ни в любви, ни на сцене или в кино. Но актеру спокойствие необходимо не для того, чтобы правильно замахнуться битой или быстро пробежать от базы к базе, а чтобы высвободить энергию своего тела, вызвать прилив вдохновения и передать его посредством своего духа – в глазах, голосе, жестах... посредством своего тела. Это не значит, что ты выходишь на сцену и командуешь себе: “Расслабляйся давай, чтоб тебя!” Даже если спокойствие кажущееся, надо забыть о гложащих тебя сомнениях и часто подсознательных комплексах, которые мешают творчеству и не дают сделать на сцене то, что хочется.

Иногда актер становится знаменитым в одночасье, и после в каждой роли его просят повторить те приемы, благодаря которым он прославился, так что он начинает играть сам себя. На самом деле слава – это предвестник гибели таланта. Ли иногда напоминал нам, что актер делает карьеру перед публикой, а искусство свое развивает в одиночестве. Ужасно, когда звезда театра или кино теряет внутреннюю энергию и не понимает, куда что девалось. Что-то не так, а что делать – неизвестно. Вот тогда-то и пригодились бы курсы. Не на работе, а в тиши класса актер может попробовать новые методики, попытаться сделать что-то новое, потерпеть фиаско, научиться полноценно и *в нужный момент* использовать разные средства актерского мастерства. Чтобы этого добиться, надо отдавать себе отчет в том, благодаря чему нам удастся вести себя адекватно в тех или иных реальных жизненных ситуациях. Мы имеем дело с различными запретами, страхами, эмоциями и тем, что их провоцирует, и профессиональные приемы Ли помогают актеру осознать и устранить подобные внутренние проблемы. Ли не дает строгой теории, применимой к каждому актеру. Напротив, его замечания и советы основаны на анализе индивидуальных особенностей каждого – в моем случае это стремление к совершенству. Это сковывает меня, я пытаюсь доказать свою ода-

ренность за счет выражения более сильных чувств (что мне всегда легко давалось). Поэтому для меня Ли подбирал роли людей скучных, неторопливых, с медленной речью. Мне надо было научиться бездействовать.

Еще одна серьезная проблема для актера – где найти источник вдохновения. Знаете, как это бывает – то каждый ваш нерв возбужден и напряжен, то вам всё надоело и всё лень? В таких случаях выручает профессионализм. Постоянно упражняюсь, тренирую чувственную память и разыгрывая различные сценки, которые вам, возможно, и не придется никогда сыграть по-настоящему, но которые помогают заблокировать те или иные зоны психики, вы можете наработать целый арсенал технических средств и пользоваться ими, когда вам это понадобится.

Я уже говорила, что мой отец не признавал метода Ли – копаться в себе, выставлять свою личность на всеобщее обозрение, особенно в учебном классе, было ему не по праву. Он ставил подобные методики в один ряд с ненавидимыми им религией, психотерапией и со всем, что противоречило его аскетической натуре. “Это всё отговорки!” – повторял он.

Спустя много лет мы снимали фильм “На Золотом пруду”, и в одном из эпизодов я, стоя в воде рядом с его лодкой, говорю ему, что хочу стать его другом. Мы репетировали эту сцену много раз, и я подавляла в себе желание коснуться его руки – хотела приберечь свою уловку до папиного крупного плана, когда эффект был бы наиболее сильный. Папа редко пускал слезу перед камерой, а я хотела заставить его заплакать в этом эпизоде – для меня лично это было бы очень важно. Момент настал, камера повернулась, приблизилась, я произнесла: “Я хочу с тобой дружить” – и дотянулась до его руки.

На долю секунды он растерялся. Затем, похоже, разозлился – дескать, мы совсем не то репетировали. Потом эмоции взяли верх, глаза его увлажнились, но он снова собрался и отвернулся, уже сердито. Едва ли камера зафиксировала всё это, но мне всё было ясно, и мое сердце потянулось к нему. В тот миг я очень его любила. Я поражалась силе его таланта, которому не мог помешать страх перед спонтанностью и проявлением чувств. Леора Дэна, игравшая с ним в пьесе “Точка невозврата”, однажды сказала о нем:

Он играл потрясающе. Настолько точно, что мне тоже хотелось делать всё безупречно. Он умел полностью расслабляться. Мне это нравилось... Но как-то раз я дотронулась до него, хотя не должна была. Просто накрыла его руку своей, и вместо абсолютно спокойного живого человека ощутила металл. Его рука была закована в сталь.

Конечно, ему метод Ли не мог нравиться. Зато я попала “домой”.

Глава 10

Наложение кадров

Если ты никто, то единственный способ стать хоть кем-то – это быть кем-то другим.

Неизвестный пациент из книги “Ребенок из прошлого внутри тебя”

Весной 1959 года Джош Логан провел со мной кинопробы и решил дать старт моей карьере в кино, предложив мне роль в экранной версии бродвейской пьесы “Невероятная история” на пару с Энтони Перкинсом и контракт на 10 тысяч долларов в год. Съемки должны были проходить в Бербанке на киностудии “Уорнер Бразерс”. Самое сильное впечатление на меня произвела костюмерная – два этажа комнат, где хранились костюмы всех времен и народов, с именами игравших в них актеров и названиями фильмов на ярлычках. Обтянутые муслином манекены – коренастые, худощавые, полногрудые, сделанные точно по меркам кинозвезд, которые снимались на “Уорнер Бразерс”, – покорно ждали портних с их булавками. Иногда тот или иной обезглавленный манекен привлекал внимание своими изящными формами (Мэрилин Монро) или миниатюрностью (Натали Вуд) – можно было спросить кого-нибудь из пятнадцати портних, кому он принадлежит. В костюмерном цехе я испытала благоговейный страх перед историей Голливуда и сильнее, чем где-либо еще, впервые ощутила, что тоже могу стать ее частицей. Прежде чем я уехала в Нью-Йорк, с меня сняли мерку, и мой манекен – до боли простой, без каких-то особых примет, выделявших его среди прочих, – занял свое место в общем ряду.

Затем настал день проб в гримерной. Гримерный цех киностудии возглавлял многоуважаемый Гордон Бо. Я видела там Энджи Дикинсон, готовую к съемке, в соседнем кабинете работали с Сандрой Ди. Я легла на спину и отдала свое лицо во власть мистеру Бо, уверенная, что он превратит меня в настоящую кинодиву. *Когда он закончил, я села и... О господи! Кто это там в зеркале? Он полагает, я так должна выглядеть?* Шок, ужас! Кто я такая, чтобы возражать ему – мол, та, в зеркале, мне не нравится? Но это была не я. Мой рот поменял форму, огромные, темные брови взлет напоминали орлиные крылья.

Моя новая внешность абсолютно меня не устраивала, но спорить я не посмела. Поэтому меня, согласно правилам киностудии, отправили к другому гримеру, который занялся моим телом уже в другой комнате – с зеркалами на всех стенах! Полный обзор со всех сторон. Суций кошмар. Мне велели встать на маленькую платформу, и какая-то дама обработала тональным кремом *Sea Breeze* все участки моего тела, которые должны были остаться открытыми. То есть практически всё тело, так как мне предстояло играть капитана группы поддержки баскетбольной команды. Запах этого средства до сих пор приводит меня в бешенство. Я начала думать, что киноиндустрия не для тех, кто, вроде меня, не в восторге от своего тела и лица.

На следующий день я увидела на экране результаты кинопроб в костюме и гриме, и мне захотелось провалиться сквозь землю – до такой степени меня раздражало мое круглое лицо с неестественным макияжем. Прическа мне тоже совсем не понравилась. В довершение всех бед в тот черный день Джек Уорнер, который отсматривал пробы в отдельной комнате, распорядился, чтобы я вставила вкладыши в бюстгальтер. Джош передал мне его указание, а заодно сказал, что после съемок в его фильме я могла бы подумать о том, не перекроить ли мне челюсть, чтобы задние зубы подвинулись и овал лица стал более четким, с впавшими щеками, как у тогдашней супермодели Сьюзи Паркер. Он взял меня за подбородок, повернул мое лицо в профиль и сказал:

– С таким носиком тебе не быть драматической актрисой, для драмы он слишком симпатичный.

С этого момента съемки в “Невероятной истории” пошли для меня по сценарию кафианского страшного сна. Я не справлялась с булимией, снова, как в детстве, начала бродить по ночам, не пробуждаясь, но уже по-другому. Мне снилось, что я лежу в кровати в ожидании эротической сцены, но постепенно осознаю, что совершила чудовищную ошибку. Я лежу не в той кровати, не в той комнате, а где-то – где, неизвестно – меня ждут, чтобы начать снимать этот эпизод.

Дело было летом, стояла жара, и я часто спала обнаженной. Однажды я очнулась на тротуаре перед домом, в котором снимала квартиру, голая и продрогшая, тщетно пытаюсь сообразить, где я и кто я.

Мне не удавалось вновь вызвать в себе тот восторг, который я ощущала на занятиях с Ли Страсбергом. Я не понимала, как применить полученный там опыт, чтобы сделать свою героиню – капитана девичьей группы поддержки – более интересным персонажем. Казалось, камера была против меня. Я чувствовала себя перед ней так, словно лечу с обрыва в никуда. Слишком много внимания уделялось внешним качествам, и, похоже, чуть ли не все вокруг готовы дать мне понять, что моя внешность оставляет желать лучшего, – за единственным исключением.

В выходной день я посетила пластического хирурга. Я показала ему свою грудь и заявила, что мне необходимо ее увеличить. К моему удивлению – и к его чести, – он рассердился.

– Вы с ума сошли, если собираетесь сотворить с собой такое, – сказал он. – Идите домой и выбросьте это из головы.

Однако его резолюции было недостаточно для того, чтобы собрать Шалтая-Болтая. Во время съемок “Невероятной истории” меня вновь начали мучить мысли, что я убогая, скучная и бездарная личность. Когда всё закончилось, я вернулась в Нью-Йорк, поклявшись больше никогда не связываться с кино.

В двадцать два года меня ждала слава, я сама зарабатывала себе на жизнь и ни от кого не зависела.

Почему же, когда я дошла до этого периода, мою работу на полгода остановил творческий кризис? У меня была масса уважительных причин – на моем ранчо в Нью-Мексико надо было опрыскать осот, убрать валуны и срубить деревья, чтобы освободить конские тропы... Жизнь есть жизнь. А через полгода я поняла, что те несколько лет после переломного года у Страсберга дались мне тяжело. Почему после столь бодрого старта наступил период печали и фальши? Были и светлые моменты, но плохое глубже впечатывается в память.

Разве не странно, что лишь на курсах Ли Страсберга я впервые со времен детства поняла, где следует искать истину и подлинность? Я почувствовала, что он “видит” меня, с того самого момента, когда выполнила свое первое упражнение. Всю жизнь мне внушали: нечего копаться в себе и раскладывать по полочкам свои эмоции. Ли призывал меня глубже вникнуть в собственную душу и раскрыться, что я и сделала – словно заново родилась, абсолютно незащищенная. А потом – бац! Я начала работать, и мои первые достижения в студии Ли потеряли значение, а на первый план, едва я успела обрести себя, вылезли прическа, круглые щеки и маленькая грудь – и я ничего не могла с этим поделать. Далее последовали три мучительных года наедине с самой собой, депрессий и бездействия. Я не пытаюсь вызвать жалость к себе. Подумаешь – тело мое раскритиковали, да и вообще, не так уж тяжела актерская доля, бывает и похуже. Однако за время съемок в “Невероятной истории” сработали все мои опасные кнопки. Выглядела я так, словно у меня всё шло прекрасно. Мои друзья,

с кем я общалась в те годы, удивились бы, узнав, каково мне жилось на самом деле. Делать вид я умею.

Для начала, вернувшись из Голливуда в Нью-Йорк, я могла восемь раз в день обращаться и сразу же принять слабительное. Я не могла справиться с этой напастью, из-за чего вечно ходила усталая, злая и подавленная. Попробовала обратиться к психотерапевту-фрейдисту; я лежала на кушетке – скорее всего, сам доктор на ней же спал и мастурбировал, – а он сидел сзади. Довольно скоро я поняла, что не хочу пересказывать свои сны потолка. Я хотела, чтобы кто-нибудь, глядя мне в глаза, побыстрее помог мне, во-первых, остановить ожорство с поносом, а во-вторых, понять, зачем я это делаю. Но я понятия не имела, куда бежать.

В эти годы я начала бояться мужчин, и моя чувственность надолго притупилась. В обществе геев и бисексуалов мне было комфортнее. Тогда же в мою жизнь вошел балет. Строгие требования к выполнению балетных па и обязательная худоба – как раз то, что нужно женщинам с нарушениями питания. Балет, как и анорексия с булимией, требует жесткого контроля над собой. В те годы приличной женщине не полагалось потеть. Оздоровительные женские клубы обзаводились саунами, вибротренажерами, которые заставляли ваше тело смешно вихляться, и прочими приспособлениями для пассивных тренировок. Гантели и силовые тренажеры предназначались исключительно для мужчин. Поэтому только в балетном классе я узнала, что такое тяжелая тренировка до седьмого пота, благодаря которой можно вылепить себе новое тело, и с 1959 года до 1978-го, когда я разработала собственную систему под названием “Программа тренировок от Джейн Фонды” (*Jane Fonda Workout*), лишь балет обеспечивал мне регулярные физические нагрузки, и я занималась всегда и везде – во время съемок в своих первых фильмах, включая “Барбареллу” и “Клют”, во Франции, Италии, США и СССР.

Я вернулась в Нью-Йорк со съемок “Невероятной истории” и через месяц начала репетировать с Джошем Логаном пьесу Дэниела Тарадаша “Жила-была девочка”, права на которую он купил. Там шла речь об изнасиловании. Папа боялся, что критики сочтут мою роль чересчур откровенной, поэтому всячески отговаривал меня. Но я углядела в ней шанс расширить свой диапазон по сравнению с “Невероятной историей”, и, хотя сценарий был небезупречен, идея показалась мне интересной, с передовым феминистским посылом – юная девственница отмечает свое восемнадцатилетие вместе со своим мальчиком и надеется, что он займется с ней любовью. Он явно не готов к этому, они ссорятся, и она убегает в парк, где какой-то мужчина при содействии приятелей ее насилует. Оглушенная произошедшим, в полубессознательном состоянии она возвращается домой, но родители и сестра, которую весьма выразительно сыграла пятидесятилетняя Джой Хидертон, винят во всем ее – типичная реакция “видимо-ты-этого-хотела”, “сама виновата”. Поскольку девушка отдает себе отчет в том, что хотела секса в этот вечер и что действительно сама во всё это ввязалась, она почти на грани нервного срыва отправляется на поиски насильника, надеясь привлечь его к установлению истины.

Это был мой первый опыт игры на профессиональной сцене. Я получила чрезвычайно яркую, эмоциональную роль, дневала и ночевала в театре, стараясь сделать свой костюм более заметным в полумраке сценического круга и отработать различные эпизоды эмоционального краха. В процессе репетиций проявились все драматургические изыскания пьесы, и Дэн Тарадаш каждое утро начинал с поправок в сценарии. Мне всегда нравилось преодолевать трудности, но такого я не ожидала.

В первый день 1960 года, за неделю до начала нашего гастрольного прогона в Бостоне, мы получили известие о том, что Маргарет Саллаван, маму Брук Хейуорд, нашли мертвой в ее номере в отеле, в Нью-хэвене, и очевидно, это было самоубийство. Я будто получила

удар под дых. Джош, который дружил с ней еще со времен университетского театра, тоже очень тяжело воспринял эту новость.

За два дня до премьеры в бостонском Колониальном театре Джош снял с роли моего главного партнера и поставил вместо него Дина Джонса, не дав ему времени даже выучить текст. Еще через два дня, посреди второго акта, прямо перед выходом на сцену Луис Джин Хейт, который играл отца моей героини, умер от обширного инфаркта. Еще через два дня у самого Джоша, давно страдавшего маниакально-депрессивным расстройством, о чем я не знала, случился нервный срыв, и он исчез на десять дней, оставив нас на попечение автора, который ни разу в жизни не пробовал режиссировать пьесу.

Последнюю гастрольную неделю мы провели в Филадельфии. Через три дня Джош вернулся как ни в чем не бывало, но судя по тому, что его жена Недда не отходила от него ни на шаг, не всё с ним было хорошо. Мы занимали соседние номера в отеле, и однажды вечером, уже собираясь лечь, я услышала какое-то мурлыканье; мне стало интересно. Я воспользовалась старым способом, которому меня научила подруга: если приставить к стене перевернутый стакан, получится как бы рупор, и вы услышите то, что говорят за стеной. Тогда я в первый раз с изумлением услышала, как Недда поет Джошу колыбельную. На следующий вечер я снова воспользовалась своим подслушивающим устройством и на этот раз узнала такое, что подкосило меня гораздо сильнее колыбельной, – Джош говорил кому-то, что хочет списать налоги, а для этого надо продержат пьесу не меньше трех недель, даже если отзывы в Нью-Йорке будут плохие.

Он знает, что критики разнесут пьесу в пух и прах, но его волнует не наша профессиональная репутация, а его налоги!

Сердце мое оборвалось. Рецензии в Бостоне и Филадельфии не воодушевляли, однако обо мне без преувеличений отзывались неплохо, и в последней надежде я сумела себя убедить в том, что Джош и Дэн Тарадаш поправят сценарий. Теперь мне стало ясно, что они даже не пытаются это сделать. Списывать налоги! Что там говорил Ли Страсберг о высоком искусстве театра? Как насчет идеалов?

Пьеса “Жила-была девочка” влачила на Бродвее жалкое существование. Я преодолела трудную премьеру и научилась входить в ресторан твердой походкой, несмотря на довольно ругательные рецензии – иногда, впрочем, благосклонные ко мне. “В роли несчастной героини безвкусной мелодрамы она демонстрирует живую, многогранную игру и профессиональную зрелость, что говорит о ее верном выборе жизненного пути”, – написал Брукс Аткинсон²⁰ в *The New York Times*. Джон Чепмен в *Daily News* отозвался обо мне так: “При столь многообещающем даровании, которое мы увидели минувшим вечером, она может стать Сарой Бернар 1990-х годов. Но ей стоит поискать для себя более талантливую драму, нежели эта невнятная пьеска”.

Пьеса выдержала шестнадцать показов. Джош получил налоговый вычет, а я – премию Нью-Йоркского кружка театральных критиков как “самая перспективная молодая драматическая актриса года”.

Меня будто снимали методом наложения, как при комбинированной съемке; люди видели меня – это я открывала и закрывала рот, произнося слова. Никогда не забуду кастинг на главную женскую роль в фильме Элии Казана “Великолепие в траве”. Казан, уже снявший ленты “В порту” и “К востоку от рая”, подозвал меня к краю сцены, представился, дотянулся до моей руки, чтобы пожать ее, и спросил: “Как вы полагаете, вы честолобивы?” “Нет!” – прозвучал мой мгновенный ответ. Это вырвалось у меня автоматически, против моей воли, заглушив мою настоящую страсть и творческую энергию. По лицу режиссера я

²⁰ Брукс Аткинсон (1894–1984) – один из самых авторитетных театральных критиков в Америке, работал в *The New York Times* с 1925 по 1960 год.

в ту же минуту увидела, что совершила ошибку. Раз во мне нет честолюбия, значит, нет и азарта, я не профессионал. *Но воспитанной девушке амбициозность не к лицу.* Я проделала всё, что полагалось на прослушивании, но поняла, что провалилась. Роль получила Натали Вуд, ее партнером стал Уоррен Битти. Они оба на вопрос Элии Казана, не задумываясь, ответили “да”.

Я была практически бесплотна. Даже мой голос, как в профессиональной жизни, так и в повседневной, звучал где-то в верхней части головы. На этот мой тонкоголосый образ накладывался другой – чуть ли не чужой мне, в котором я жила сама по себе, когда мне не надо было ничего никому доказывать, вовсе не тот, который я могла предъявить публике. Этот другой мой образ начал атрофироваться подобно неработающим мышцам, я почти забыла о его существовании и удивлялась, когда кто-то умудрялся разглядеть его и ждал от меня большего, чем я давала или думала, что могу дать. Я не воспринимала себя всерьез и потому разбазаривала сама себя – на посредственное кино, на людей, которые меня мало интересовали.

Осенью 1960 года, только я открыла свой второй бродвейский сезон в пьесе Артура Лоренца “Приглашение в март”, в нью-йоркской квартире Бриджет Хейуорд, сестры Брук, обнаружили ее тело; она покончила с собой. Над некогда благополучной, счастливой семьей сгустилась тьма. Стало быть, никто не мог чувствовать себя в безопасности; в любой момент некая сила могла затянуть тебя во мрак.

Примерно тогда же я обнаружила, что Джош намерен продать мой контракт продюсеру Рею Старку за 250 тысяч долларов. Я больше не желала быть ничьей собственностью, поэтому предложила выкупить свой контракт за ту же цену. Для нынешнего шоу-бизнеса 250 тысяч долларов – не астрономическая сумма, но для меня (в те годы) это означало, что мне придется без устали работать только ради того, чтобы в течение пяти лет обеспечивать пачку чеков для Джоша. Однако я пошла на это, не сомневаясь ни секунды. Я ценила свободу.

Хоть я и дала обет больше не сниматься в Голливуде, надо было работать, чтобы расплачиваться с Джошем, и когда мне предложили роль Китти Твист в киноверсии мрачной книги Нельсона Элгрена, повествующей о годах Великой депрессии, я сразу ухватилась за это предложение. Но деньги были не единственным стимулом. Мне хотелось сыграть эту нахальную девчонку, мелкую поездную воришку, которая сбежала из исправительной школы и превратилась в дорогую проститутку из нью-орлеанского борделя. Китти разительно отличалась от моей прежней героини из “Невероятной истории”. Кроме того, там было достаточно кинозвезд – таких как Барбара Стэнвик, Лоренс Харви, Энн Бакстер и Капучине, – которые могли бы взять на себя ответственность за успех или провал фильма.

На этот раз я решила последовать примеру Мэрилин Монро и поехать в Голливуд с педагогом-репетитором, чтобы чувствовать себя менее уязвимой. Я пригласила педагога, колоритного грека Андреаса Вуцинаса, тоже актера, – когда-то он помог мне подготовить сценку для поступления в Актерскую студию. После “Прогулки по беспутному кварталу” мы работали с ним во время съемок фильмов “Пусковой период” и “Холодным днем”, а кроме того, я играла в бродвейской пьесе “Забавная парочка”, где он был режиссером.

Глава 11

Вадим

Через двадцать лет вы пожалеете не о содеянном, а о том, чего не сделали.

Итак, отдать швартовы! Покиньте уютную гавань.

Попутного ветра вашим парусам!

Исследуйте. Мечтайте. Совершайте открытия.

Марк Твен

“Qui ne risqué rien n’a rien”, – заметил дьявол, по обыкновению переходя на французский.

Мэри Маккарти²¹. *“Воспоминания о католическом детстве”*

Шел 1963 год. Я снималась в Голливуде, в своей шестой ленте под названием “Воскресенье в Нью-Йорке”, и вдруг мне позвонил мой агент и сказал, что Роже Вадим приглашает меня во Францию, сниматься в ремейке “Карусели”²², не лучшего классического фильма пятидесятых годов. Я велела агенту телеграфировать в ответ, что “с Вадимом я не буду работать никогда!”. Я видела его “И Бог создал женщину” и не пришла в восторг, хотя и считаю Брижит Бардо редкостным природным явлением и признаю, что это кино несет передовые, иконоборческие идеи. К тому же я не забыла нашу встречу с ним в “Максиме”, в Париже, и свой тогдашний испуг.

Однако вскоре Франция вновь замаячила на горизонте – в Лос-Анджелес прилетел французский режиссер Рене Клеман с предложением выступить в дуэте с Аленом Делоном, тогда одним из самых популярных актеров в Европе. Я согласилась. Мне понравилась мысль, что можно отделиться океаном от Голливуда и длинной папиной тени. Более того, в то время французский кинематограф находился на пике “Новой волны”, там работали молодые режиссеры, такие как Трюффо, Годар, Шаброль, Маль и Вадим. Клеман принадлежал к более старшему поколению и не вписывался в “Новую волну”, зато он создал замечательные “Запрещенные игры”.

Осенью 1963 года я приехала в Париж во второй раз и снова мгновенно влюбилась в этот город. Но теперь я попала не на грандиозную вечеринку, откуда сбежала, а в гости к другу, готовому научить меня жизни. Пресса подняла такую шумиху, будто блудная дочь вернулась домой. Но меня взяла под свое крылышко знаменитая французская актриса Симона Синьоре – сама Симона с ее очаровательным пришепетыванием, полными чувственными губами, с синими глазами под тяжелыми веками, – и мне сразу стало гораздо уютнее. Они с мужем, актером и певцом Ивом Монтаном, занимали квартиру над рестораном “Поль” на Иль-де-Сите, маленьком треугольном острове на Сене прямо напротив моего отеля. Они дружили с режиссером Коста-Гаврасом, который оказался помощником режиссера (Рене Клемана) того самого фильма “Хищники”, где я должна была сниматься. Коста-Гаврас часто бывал в гостях у Симоны и Ива, они заказывали в ресторане “Поль” еду и допоздна вели с друзьями горячие споры; позднее он снял отличные политические триллеры “Дзета”, “Осадное положение” и “Пропавший без вести”. Возбуждающая атмосфера этих сборищ, когда никто никуда не торопился и считалось, что нет ничего приятнее интересной беседы, напоминала мне нью-йоркскую квартиру Страсберга, где неоднократно бывали и Симона с Ивом.

²¹ “Кто не рискует, тот ничего не имеет” (фр.); Мэри Маккарти (1912–1989) – американская писательница, критик и политический деятель.

²² В США фильм вышел под названием “Любовный круг”.

Французы знают толк не только в еде и вине, но и во всём, что связано с интеллектом. “Я мыслю – значит, я существую”, – сказал французский философ Рене Декарт.

С Симоной мы познакомились в 1959 году, когда она приехала с мужем в Нью-Йорк, – его сольное шоу “Вечер с Ивом Монтаном” имело колоссальный успех на Бродвее. Папа, Афдера и я поужинали с ними в ресторане отеля “Алгонкин”. Помню, с каким обожанием Симона смотрела на сидевшего напротив нее моего отца, а теперь, в Париже, она говорила со мной о его фильмах – “Блокаде”, “Гроздьях гнева”, “Молодом мистере Линкольне” и “Двенадцати разгневанных мужчинах”. Она сказала, что ее задела за живое идеи этих лент и герои, которых он играл, и я начала немного иначе относиться к папе. Дома он далеко не всегда проявлял те качества характера, которые ее так восхищали, но я уже была достаточно взрослой, чтобы понять, сколь разнообразны людские потребности, – детям нужна родительская любовь, а зрителям нужны герои, которым хотелось бы подражать. Должно быть, нелегко быть героем и отцом *одновременно*. Для всего мира мой папа *был* Томом Джоудом.

Очевидно, меня столь тепло приняли во Франции не только как американскую актрису и даже не как дочь известного американского актера, а как дочь Генри Фонды, который считался воплощением всех достоинств Америки – всего того, что олицетворял собой президент Кеннеди. Я приехала во Францию в надежде избавиться от репутации “папиной дочки”, а оказалось, что я могу гордиться многими чертами его характера и хотела бы, чтобы их узнавали во мне.

Раньше я не встречала людей, для которых кино было интеллектуальным искусством, и никогда не подумала бы, что американское кино, начиная с комедий Джерри Льюиса с их плотскими шуточками и заканчивая работами Джона Форда, Альфреда Хичкока и Престона Сёрджеса, может так сильно повлиять на европейских кинодеятелей.

Во Франции я узнала, что такое обыкновенный коммунизм, и поскольку позже мои недоброжелатели вешали на меня ярлык коммунистки, я хочу кое-что об этом рассказать. Как я поняла, Симона Синьоре и Ив Монтан принадлежали к левому крылу французских интеллектуалов, в которое входили также другая Симона (де Бовуар), ее давнишний партнер Жан-Поль Сартр и, естественно, Альбер Камю, скончавшийся в 1960 году. Все они были *engagé*²³, активные борцы, и все симпатизировали Французской коммунистической партии (ФКП) – одни были ее членами, но вышли из нее, другие и не были никогда. Симона с Ивом не вступали в ФКП, хотя во многом ее поддерживали. Им, равно как и прочим французским деятелям искусств, претила доктринерская культурная политика коммунистической партии, которая видела в свободном искусстве мелкобуржуазное хулиганство. И всё-таки французских интеллектуалов и художников связывали с коммунистами исторически сложившиеся близкие связи. Они относились к ФКП как к партии перемен и еще со времен французской революции, когда они сыграли важную роль в свержении монархии, считали себя проводниками социального прогресса. Кроме того, они не доверяли НАТО, не одобряли политику ядерного вооружения и новую войну во Вьетнаме, в которой США якобы участия не принимали. Французские интеллигенты часто оказывались на передовой борьбы за прекращение колониальной войны во Вьетнаме, развязанной их страной, в годы фашистской оккупации были подпольщиками Сопротивления и считали ФКП единственной силой, способной эффективно противостоять фашизму.

Я выросла в Америке с двухпартийной системой, поэтому меня поразило количество французских политических партий – крупных и могущественных, мелких и менее влиятельных, виновных в каком-нибудь кризисе и исчезнувших с политической арены или преобразованных в новые партии. ФКП была одной из шести узаконенных партий, представленных во французском парламенте. Где-то я читала, что в те годы, когда я жила во Франции

²³ Добровольец (*фр.*).

– в пятидесятых-шестидесятых годах XX века, – за коммунистов голосовало почти 40 % французов. Коммунисты были неотъемлемой частью французского общества с его разнообразными настроениями и не представляли собой угрозы. Я в те годы мало интересовалась политикой и идеологией – к тому времени еще не заинтересовалась, – и трудно было предположить, что когда-нибудь увлекусь политической деятельностью, никто и не пытался меня к ней привлечь. Но, возможно, именно благодаря непосредственным, тесным, но абсолютно невинным контактам с европейским коммунизмом я впоследствии стала *engagé*, как говорила Симона, и не испытывала свойственной многим американцам фобии по отношению к коммунистам. Я поняла, что, если у людей есть выбор, они скорее предпочтут золотую середину между свободным капиталистическим рынком и системой централизованного контроля – ключевое слово здесь “выбор”.

Как ни странно, в Париже я чувствовала себя больше американкой, чем когда-либо прежде. Лишь вдали от своей родины я смогла глубже осознать, в чем мы другие и что это значит – быть гражданином США. Во Франции – да и в других европейских странах, как я поняла позднее, – классовые различия определены гораздо четче. Границы между буржуа, аристократами и пролетариями нарушаются крайне редко. Твоя судьба зависит от твоего происхождения. В США социальные прослойки лучше перемешивались, особенно в пятидесятых годах. В наши дни растет слой потомственной элиты, экономическое неравенство становится более заметным, и простому человеку не так легко самому построить свою жизнь, но если у него есть хотя бы крепкое здоровье и образование, если родители морально поддерживают его и если ему улыбнется удача, он сможет это сделать. Я думаю, наши выдающиеся энергичность и оптимизм объясняются именно классовой гибкостью и редкостной политической стабильностью. Если бы все американцы в начале шестидесятых могли взглянуть на свою страну из-за океана!

Для американцев во Франции это был чудесный период. В годы президентства Эйзенхауэра французы считали нас серыми и слишком шумными, “противными американцами”. Когда же в Белом доме поселились президент Кеннеди с женой Джеки, всё изменилось. Супруги Кеннеди обеспечили нам уважение других народов, и их популярность пошла на руку американцам в Париже.

22 ноября я вошла в холл своего отеля после дневных съемок у Клемана. У стойки администратора говорил по телефону американский актер Кир Дулли. Его лицо посерело. “В Кеннеди стреляли, говорят, он убит”, – сказал он мне. Мы глядели друг на друга. Потрясенная, я села на диван в ожидании подробностей. Журналист, который хотел взять у меня интервью для французского журнала о кино *Cahiers du Cinéma*, спросил, не лучше ли ему прийти позже. “Нет, – ответила я. – Мне надо с кем-нибудь поговорить”.

Мы поднялись ко мне в номер, без особого энтузиазма попытались побеседовать, но оставили эти попытки.

Позвонила Симона. Плача, она сказала, что я не должна в эту ночь оставаться одна, и предложила мне приехать к ним. Сидя у Симоны и Ива с их друзьями, я поняла в ту ночь, что они переживают гибель Кеннеди как собственное горе, им тоже трудно поверить в такую ужасную, непоправимую беду. Для меня всё кончилось. Привычный, основанный на законности мир, в котором я выросла, рухнул. И худшее было впереди – мне еще предстояло потерять Бобби и Мартина²⁴.

Я приехала во Францию работать, хотя на то были и причины более личного характера. Я надеялась здесь услышать собственный голос, понять, кто я есть, – на самый крайний случай найти более интересную личность, чем та, в которой я воплотилась дома.

²⁴ Роберт Кеннеди и Мартин Лютер Кинг, убитые в 1968 году.

В итоге я осталась во Франции на шесть лет. Мужчина, мастер по шлифовке женской личности, направил меня по новому пути – по пути имитации женственности.

Мы шли за его гробом по узким, цвета охры улицам старого Сен-Тропе, держась за руки, – Брижит Бардо, Аннетт Стройберг, Катрин Шнайдер, Мари-Кристин Барро и я. Из всех жен и сожительниц Вадима отсутствовали только Катрин Денёв и Энн Бидерман. Впереди шли наша тридцатидвухлетняя дочь Ванесса Вадим с маленьким сыном Малкольмом на руках и ее единокровный брат Ваня, сын Вадима и Катрин Шнайдер. Улицы заполонили его поклонники, старые друзья и те, кто пришел просто отдать ему дань уважения. Второй месяц длилось новое тысячелетие. Катрин Шнайдер, на которой он женился после меня, организовала поминальную службу в небольшой протестантской церкви. Священник-шотландец произнес печальную проповедь по-французски с сильным шотландским акцентом. Странная и сложная композиция. Посреди пафосной речи в духе классической греческой трагедии, которую произнесла вдова Вадима Мари-Кристин Барро, племянница знаменитого французского актера Жана-Луи Барро и кинозвезда, сыгравшая главную роль в фильме “Кузен, кузина”, внук Вадима Малкольм громко пукнул, чем развеселил своих соседей, – да и сам Вадим наверняка оценил бы этот эпизод. Он всегда был готов посмеяться, особенно в торжественных случаях.

Выйдя из церкви, мы с удивлением обнаружили трех русских скрипачей в полном траурном облачении, которые пристроились за гробом и заиграли напевную славянскую мелодию. Этот сюрприз нам приготовила Брижит. По-моему, прекрасно, что в такой день она решила таким способом напомнить нам о русских корнях Вадима. Мы забросали дорогу к кладбищу веточками мимозы и, подходя к гробу, чтобы попрощаться в последний раз, тоже клали мимозу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.